

ISSN 0307—4001

История

1989

4

Даугава

1989

4

АПРЕЛЬ (142)

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ЛАТВИЙСКОЙ ССР.
ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1977 ГОДА

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ЛАТВИИ. РИГА

В НОМЕРЕ:

Проза и поэзия

- Евгения ГИНЗБУРГ. Крутой маршрут. Хроника вре-
мен культа личности. Продолжение 3
- Янис РОКПЕЛИС. От гибели всего на волосок.
Стихи 34
- Валентин ЯКОБСОН. Ой, мамочки, мамулень-
ки! 40
- Владимир МИКУШЕВИЧ. Полумочница. Стихи 65

Публицистика

- Иван МИРОЛЮБОВ. После раскола 68

Мемория

- Иван БУНИН. Окаянные дни. Фрагменты. Продол-
жение 76

Культурология

- Вадим РУДНЕВ. Арнольд Джозеф Тойнби 96
- Арнольд ТОЙНБИ. Христианство и марксизм 97

(см. на обороте)

В Н О М Е Р Е (окончание):

Мастерство перевода

**Аманда АЙЗПУРИЕТЕ. Песни скальда в подлин-
нике и переводе 104**

Для истории 107

Илан ПОЛОЦК. Несколько слов о собирателе . . 107

Дмитрий ЮРАСОВ. Механизм террора 108

Картотека Юрасова 117

Почта «Даугавы» 125

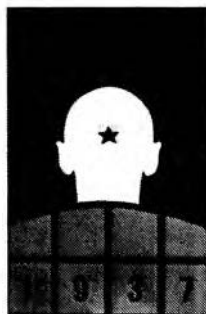
Рукописи не рецензируются и не возвращаются

**Главный редактор
Владлен ДОЗОРЦЕВ**

Редакционная коллегия:

Юрий АБЫЗОВ, Виктор АВОТИНЬШ (отв. секрета-
рь), Людмила АЗАРОВА, Астрида АЛЬКЕ, Улдис
БЕРЗИНЬШ, Николай ГУДАНЕЦ, Юрис ДИМИТЕРС,
Вика ДОРОШЕНКО, Вячеслав ИВАНОВ, Марина КО-
СТЕНЕЦКАЯ, Петр КРУПНИКОВ, Григорий НИКИФО-
РОВИЧ, Янис ПЕТЕРС, Кнут СКУЕНИЕКС, Ян СТРА-
ДЫНЬ, Янис СТРЕЙЧ, Роман ТИМЕНЧИК, Леонид
ЧЕРЕВИЧНИК (зав. отделом), Адольф ШАПИРО,
Андрис ЯКУБАН (зам. главного редактора).

**Редакция
Сергей КОЛЬЦОВ, Илан ПОЛОЦК, Вадим РУДНЕВ**



КРУТОЙ МАРШРУТ

Хроника времен культа личности

Глава седьмая

«НЕ ПЛАЧЬ ПРИ НИХ...»

После магической резолюции полковника Франко дело о приезде Васьки перешло в другие каналы. Туда, где процент бывших заключенных составлял ноль целых и сколько-то десятых. В этих каналах все было приспособлено для вызова людей, желанных и нужных для официальной Колымы. Так что дело пошло теперь куда быстрее.

И когда Казанское управление милиции любезнейшим образом вручило Ваське самые первосортные документы на въезд в таинственную запретную зону страны, в семье Аксеновых разволновались, стали строить предположения. Не может быть, чтобы такие роскошные бумаги могла раздобыть бесправная таперша детского сада. Они прислали мне смятенное письмо, в котором, с одной стороны, поздравляли меня, что я «снова в люди вышла», а с другой — били отбой насчет приезда Васи. Люди они были добрые, за десять лет привязались к мальчишке. И хотя за последние два года он донимал их своевольным поведением, и они сами требовали, чтобы я взяла его к себе, но теперь, когда дело перешло в практическую плоскость, им стало страшно отпускать его в такой дальней путь. «Пусть уж кончит школу здесь», — писали они.

Новое препятствие с неожиданной стороны. Не хватало только, чтобы теперь, после всех мытарств с пропуском, сорвалась моя встреча с Васей! Но беспокойство мое было напрасным. Моем союзником оказался сам Васька. Впервые за двенадцать лет разлуки я стала получать от него письма, в которых проглядывала индивидуальность не знакомого мне сына. Вместо прежних коротеньких писулек: «Как ты живешь? Мы ничего. Какая у вас погода? У нас ничего» и т. д., стали приходить настоячивые подтверждения, что пропуск он получил, приедет обязательно. И правда ли, что от Колымы рукой подать до Аляски? И верно ли, что на Колыме есть племена, родственные ирокезам?

Я перечитывала эти написанные неустоявшимся почерком подростка листки и живо представляла себе, как на узенькой кушетке в аксеновской

столовой ворочается по ночам мой мальчишка, мечтающий стать Лаперузом или де Гамой, плыть по изгибам зеленых зыбей меж базальтовых и жемчужных скал. Я поняла, как жадно рвется он в дальнейшее плавание, он, не выдавший еще в жизни ничего, кроме сиротского детства в семье не слишком близких родственников да серой казарменной школы сороковых годов.

Впервые между нами протянулась тоненькая ниточка внутренней связи. Теперь я знала, о чем писать ему, вместо воспоминаний о нашем семейном прошлом, о котором он не мог помнить. Я напирала на экзотические описания колымской природы, на опасности морского путешествия. Спрашивала, как он предпочитает ехать: морем или по воздуху . . . Антон достал для него кинжал из моржовой кости, расписанной чукотскими косторезами, и я подробно описала ему этот кинжал, а заодно и быт чукчей. (О котором сама знала пока только понаслышке.) В ответ приходили нетерпеливые вопросы: когда же?

Приезд его был назначен на первые числа сентября, чтобы не опоздать к началу учебного года. С замирающим сердцем я зашла в среднюю школу, тогда еще единственную в Магадане, и побеседовала с завучем о том, что вот у меня сын приезжает и есть ли у них места в девятих классах . . . Это было острое, терпкое чувство возвращения из страшных снов к разумной человеческой повседневности. Как это замечательно — хоть на минуту оказаться такой, как все! Не одиночница, не этапница, не подсудимая Военной коллегии, не террористка-тюрзачка. Просто мамаша, пришедшая в школу определять сына.

Но все это пока были еще самооблажения. Еще предстояло преодолеть многое, чтобы встреча стала реальностью. Прежде всего — деньги на дорогу. Где их взять? Если самолетом — то три тысячи. Потом второе — с кем он поедет? Хотя Васе шел уже шестнадцатый год, а путь до Магадана за эти годы несколько упростился, особенно для вольных, но я все еще была во власти давнишнего представления как о моем малыше, так и о трудностях пути, пройденного мной по этапам. Я просто не могла допустить мысли, чтобы дитя пустилось в этукую дорогу одно-одинешенько.

Заботу о деньгах взяла на себя Юля.

— Я уже объявила среди наших. Соберем . . . Ведь это первый наш материковский ребенок едет на Колыму. При чем тут благотворительность? Ерунду городишь! Ну конечно, взаимы. Я так всем и сказала: вы-платим в течение года.

Но вдруг сложилось так, что сбор денег оказался не нужен. Вдруг выяснилось, что среди Юлиных цеховых мастериц есть одна подпольная миллионерша. Ну, не миллионерша, так тысячница. Тетя Дуся.

Тетя Дуся была большая искусница по части вязаных кофточек и имела клиентуру среди колымской знати. Кроме того, у нее, шестидесятилетней, только что скончалась, где-то во глубине России, старая матушка, которая оставила Дусе в наследство прочный рубленый домик со ставнями. Дальняя родня запросила Дусю, придет ли она вступать во владение. А нет, так пусть перепишет дом на них, а они ее тоже не обидят. После недолгой переписки Дуся получила перевод на пять тысяч.

Все это тетя Дуся доверяла только Юле, от остальных скрывала, держала в глубокой тайне, опасаясь людского завистливого глаза. Сберкнижку тетя Дуся хранила в Юлином железном шкафчике, где лежала вся документация утильцеха. В быту тетя Дуся проявляла бережливость на грани скупости. Если другой раз в цеху варили суп на всех, то тетя Дуся не разрешала снимать с него накипь, уверяя, что вот именно в этой-то накипи как раз самый питательный белок и содержится.

Вот эта тетя Дуся и стала теперь главным моим кредитором. Она выбрала время попозднее, когда кругом уже спали, пришла к нам, усе-лась на постель прямо в бушлате, огляделась на тонкие стенки, через которые был слышен каждый звук из соседних клетушек, и приложила палец к губам.

— Т-ш-ш... Главно дело — молчком все покончить. Чтоб люди не балаболили, — шептала она, копаясь в недрах своего бушлата. — Вот, бери! В аккурат три. На самолетный билет. А на мелочишку там всякую — это уж еще у кого займите. Только про меня не скажите, что я этакую кучу деньжищ отвалила. Завидовать станут. Не люблю.

Большие сторублевки, нарядные, торжественные, новенькие, солидно легли на колченогий столик. Тридцать штук. Они сияли неправдоподоб-ным великолепием. Они смущали нас.

— Уж очень много, тетя Дуся, — сказала Юля. — Может, лучше от всех помаленьку соберем? Чтоб не одной тебе страдать?

— Чего мельтешиться? Берите, раз даю! Не на все же ведь. Взаимы.

— Конечно! В течение года я все выплачу, Дуся. А может, расписку написать, чтобы тебе спокойнее было? — предложила я.

По лицу тети Дуси пробежало легкое раздражение.

— Пословицу знаете: бьют — беги, дают — бери? Тоже мне вольняш-ка нашлась — расписки давать! Нынче здесь, завтра — там. Перелетная птица... А будешь в силе, так и раньше отдашь. Неужто не поверю на слово? Не первый день знаемся...

Тетя Дуся еще раз пересчитала сотенные, заботливо выравнивая пачку, погладила ее своей разработанной на лесоповале широкой ладонью.

— Удивляетесь? — обиженно зашептала она опять. — Думаете, чего это скупердяйка вдруг раскошелилась? Эх вы! Много понимаете в людях! Это что я девкам на кино не даю, так вы и думаете — Кощей? А чего нам в кино-то ходить? Наша зэкашная жизнь почище всякого кина. А тут дело кровное! Первый наш зэковский сын с материка едет! Вот был бы мой-то жив да ехал, так ты мне неужто не дала бы взаимы? Ну то-то... Пошла я... Спите...

(Единственный сын тети Дуси погиб еще в первый год войны. Стыднее всего, что во время всей сцены вручения денег ни я, ни Юля об этом не вспомнили. Тетя Дуся никогда об этом не говорит. Ей невыносимо больно, что похоронная адресована не ей (вроде она уж и не мать своему сыну!), а какой-то двоякордной тетке. И ей кажется, что такое унижение бросает какую-то тень и на память сына.)

... Теперь деньги на билет были. Оставалось искать попутчиков. Пу-путчицу нашел Антон. В вольной больнице, где он работал, лежал тяжелый сердечник Козырев, главный бухгалтер Дальстроя. Болел долго, безнадежно. Случайно, в связи с отъездом вольного врача, Козырев был на короткое время передан Антону. Две недели Антон вел его, и за это время больному стало много лучше. Откуда взялось это улучшение, было непонятно. Может быть, атмосферное давление изменилось? А может, влияние психотерапии, в которой Антон был неотразим. (Недаром я под-шучивала над ним: не столько врач, сколько священник...)

Но тут вернулся лечащий вольный врач, Антона отстранили и... со-стояние больного вдруг резко ухудшилось. Жена Козырева Нина Кон-стантиновна, кассирша из продовольственного магазина, забегала по начальству, требуя перевести мужа в палату, которую обслуживает врач Вальтер. Ей объяснили, что в той палате лежат только бывшие зэка. Ее вообще урезонивали, просвещали политически, доказывали, что замена вольного врача заключенным, да еще немцем, может иметь ненужный общественный резонанс. Пока шли эти препирательства, больной

скончался. Скорее всего, и Антон не смог бы его поднять, так, по крайней мере, думал он сам. Но вдову никто не мог разубедить: оставили бы при больном Вальтера — он был бы жив.

После похорон занемогла с горя и вдова. Она решила в больницу не ложиться. Пусть Вальтер лечит ее на дому. Он ходил туда ежедневно. Больная поправилась и превратилась в страстную поклонницу доктора. Ради него она готова была на все. И когда он рассказал ей историю вызова Васьки, она решительно заявила: «А вот я как раз еду в отпуск на материк. Я и привезу его».

Это была сухонькая проворная пятидесятилетняя женщина с маленькими быстрыми глазками. Она безошибочно отсчитывала сдачу у своей кассы. С русским языком у нее дело обстояло хуже, чем с арифметикой. Говорила она мещанским подмосковным говорком. И даже свое собственное отчество произносила «Кискиновна». Но сердце у нее было мягкое и, главное, — своевольное. Она сама решала, кто хорош, кто плох, не приглядываясь к анкетам. Плевать ей было и на статьи и на сроки Антона, и даже на то, что он немец. Она знала одно: спас ее и обязательно спас бы мужа, да не дали, собаки . . .

В деле с приездом Васьки она проявила не только доброту, но и смелость. Дело в том, что ее дочь Тамара была замужем за следователем МГБ, и тот резко возражал против того, чтобы его теща связывалась с сыном «такой статьи». Но она пренебрегла домашними неприятностями и поступила по-своему.

Теперь, когда все складывалось как будто благоприятно, я стала особенно нервна. Непрерывные страхи перед роковыми случайностями, которые могли сорвать приезд Васи, день и ночь терзали меня. Не заболел бы . . . Не заупрямились бы Аксеновы . . . Не раздумал бы сам . . . Не раздумала бы Козырева . . .

Нет, она была тверда в своем решении. В мае она пригласила меня к себе на квартиру в часы, когда ее зять на работе. Я пришла в назначенное время и вручила ей Дусины три тысячи на билет для Васи.

— Ладно! — сказала она, быстро пересчитав бумажки и щуря на меня любопытные маленькие глаза. — Ладно, не тушуйтесь! Сказала — привезу, значит — привезу. Ради доктора . . . Сколько лет не видали сыночка-то? Двенадцатый год? И как только терпите? А так с личности не заметно, чтобы сильно тосковали. Личность у вас справная . . .

В июне я набрала по мелочам в долг еще одну тысячу и выслала маме в Рыбинск, с тем чтобы она поехала в Казань, сама снарядила Ваську и довезла его до Москвы, где Козырева будет ждать его. Это было за полтора года до маминной смерти. Но она скрывала от меня, как плохо себя чувствует, как трудно ей это путешествие. Только потом я вспомнила фразу из ее письма: «Как я любила раньше ездить по Волге! А сейчас и на воде что-то чувствовала себя неважно. Но это все пустяки. Самое главное, чтобы ты встретилась с Васенькой».

В июле пришли письма, что Вася уже в Москве, на Сретенке, у Козыревых. Мама сдала его Нине Константиновне с рук на руки и уехала опять в свой Рыбинск. Васька упивается Москвой, личной свободой, дружбой с забубенным сыном Козыревых Володькой, отбившимся от ученья. Сейчас Володька — таксист, катает Васю по Москве, все показывает. Скоро полетят в Магадан . . .

Но прошли июль и август, а на мои звонки в квартиру следователя МГБ все отвечали одно и то же: Нина Константиновна задерживается в Москве по семейным причинам. В сентябре я должна была опять выехать с детским садом в оздоровительный лагерь. Это приводило меня в отчаяние. Он приедет без меня . . .

Но наступил октябрь. Уже целый месяц шли занятия в школе. Уже я успела вернуться из «Северного Артека», а Козыревой с Васькой все не было.

Мое нервное напряжение дошло до крайности. Ведь Вася так плохо одет, ему будет холодно лететь поздней осенью. Не пропал бы учебный год для него . . . Но все эти дневные разумные опасения были ничто по сравнению с ночными темными мученьями, лежавшими по ту сторону рассудка. Может быть, чьей-то чудовищной злой волей я обречена на гибель моих детей? Ведь Алеши уже нет, нет . . . А Вася — последняя искорка моей угасающей жизни — не то летит и гибнет где-то в облаках, не то просто растворяется в пространстве. И снова, как в кошмарные эльгенские ночи, стучит в моих ушах формула отчаяния: меня никто в жизни не назовет больше мамой.

И Антон и Юля тратили ежедневно массу слов — сердитых и ласковых — чтобы приводить меня в чувство.

— Кончится тем, что он прилетит, а тебя уже не будет, — мрачно пророчила Юля, — не ешь, не пьешь, не спишь . . . Сколько еще протянешь . . .

— Ты неблагодарная, — злился Антон, — тебе одной из всех бывших ззка удалось получить разрешение на приезд сына, а ты . . .

— Ох, не говори так! Сглазишь . . .

При такой моей реплике Антон тут же садился на своего конька. Да, он не видел в тюрьмах и лагерях более суеверных людей, чем бывшие коммунисты. Во все верят: и в сон, и в чох, и в птичий грай . . . Вот если бы я в Бога так верила, как во все эти глупости . . .

А тут уже включалась Юля, они оба отвлекались от меня и начинали спорить между собой. Юле, еще с молодых ногтей твердо уверовавшей, что религия опиум народа, невыносимо было слушать Антоновы разъяснения разницы между верой и суеверием.

— Просто странно, Антон Яковлич, как это вы, человек с таким отличным биологическим образованием, можете повторять фидеистические басни . . .

— Гораздо страннее, Юлия Павловна, что вы, человек с философским образованием, повторяете самые плоские банальности и не хотите осмыслить уроки, которые всем нам дала тюрьма.

Я оставляла их длить этот нескончаемый спор, а сама брела в соседний дом, на вахту Юлиного горкомхоза, — позвонить Козыревым.

— Скажите, пожалуйста, не приехала ли Нина Константиновна?

— Нет еще!

Трубка бахла мне прямо в ухо, пресекая дальнейшие расспросы. И снова тянулись изматывающие дни, каждый из которых начинался надеждой и кончался отчаянием.

Между тем мы с Юлей переехали на новую квартиру. Ей выписали ордер на целых пятнадцать метров в связи с увеличением семьи — предстоящим приездом Васи. Наш новый барак стоял рядом со старым, но он был двухэтажный, и наша комната находилась на втором этаже. Всего вдоль по коридору было не меньше двадцати комнат. Наша была одна из лучших. А может, это казалось нам тогда. Во всяком случае в ней действительно было пятнадцать метров и хорошее окно. Юля раздобыла где-то ширму, и мы отгородили для Васи отдельный уголок. Там уже стояла железная койка, стул, столик, а на столике — чернильница, бумага, учебники девятого класса. Васе было припасено шерстяное одеяло и настоящая пуховая подушка, которую Юля внесла, как трофей, поднимая ее кверху и сверкая восторженными глазами. Антон уложил под эту

подушку стопку нового белья, носки и две верхние рубашки. Все это он выменял на карпункте, отдав немало своих хлебных паек.

Так Колыма встречала девятиклассника Васю самым первоклассным набором лагерного обмундирования.

Вместо того чтобы благодарить своих верных друзей, я еще покрикивала на них, срывая тоску и тревогу. Иногда прямо-таки осыпала их несправедливыми обвинениями.

— Конечно . . . Вам можно так спокойно ждать . . . Не ваш последний ребенок пропал без вести.

Они не обижались. Понимали и терпели.

Но однажды . . . Я сняла трубку с чувством тупой безнадежности и свой вопрос насчет приезда Нины Константиновны задала с интонацией аппарата, дающего справку о времени. И вдруг, вместо обычного обрезающего «нет», услышала веселый, даже слишком веселый, голос слегка пьяного человека.

— Да, прилетел! Вот встречаем! Бокалы поднимаем за здоровье!

— А . . . Скажите, а мальчик? Мальчик из Казани прилетел с ней?

— Мальчик?

В этом месте разговора кто-то подошел к моему собеседнику и задал ему какой-то вопрос. И он, отвлекшись от меня, стал все так же весело разъяснять кому-то что-то там насчет посуды . . . Он острил и кто-то громко смеялся ему в ответ.

Сколько времени длилась эта пауза в разговоре со мной? Минуту? Вечность? Во всяком случае я успела с ослепляющей яркостью представить себе все возможные варианты Васькиной гибели. Все автомобили Москвы наезжали на него. Все уголовники Владивостока или Хабаровска грабили и резали именно его. Все эмгбисты всех городов хватили его за какое-то неосторожное слово. Вот сейчас так же весело, что нет, мальчик не приехал . . .

— Мальчик? Вы спрашиваете про казанского мальчика? Да вот сидит на диване, беспокоится, что за ним долго не идут . . . Шампанского не хочет, трезвенник . . .

Снова взрыв смеха. Потом кто-то берет у весельчака трубку и сухим злым голосом говорит:

— Почему же вы, гражданка, не идете за сыном? Он хоть и знает адрес, но в чужом месте трудно сразу сориентироваться. А провожать его здесь некому. Хватит и того, что с материка привезли.

— Я . . . я сейчас . . . Сию минуту . . . Я не знала . . .

Я положила трубку. Хотела бежать. Но тут со мной приключилось что-то странное. Ноги точно прилипли к полу, стали пустыми и ватными. Как сквозь слой воды, услышала голос дежурного на вахте:

— Эй-эй-эй, ты что, девка? Никак с копыт валишься?

Он выглянул в вахтенное окошечко и крикнул кому-то:

— Добеги-ка там до Кареповой! Скажи, ейная родня тут концы отдает.

Появилась Юлька. Валериановые капли, валидол . . .

— Возьми себя в руки. Я пойду с тобой, — твердила Юля, сама бледная и взволнованная.

Картина, которую мы застали в квартире Козыревых, напоминала кадр из давнишних фильмов, где кутили и разлагались белые офицеры. Мы топтались в прихожей, ожидая выхода Нины Константиновны, и в полуоткрытую дверь видели блеск погон, разгоряченные лица, слышали звон стеклянной посуды, взрывы хохота, пьяные возгласы.

— О, это вы? Проходите, проходите . . . Он уж тут заждался, приуныл совсем, — гостеприимно пригласила нас хозяйка, — вас двое? А вот интересно, узнает ли он, которая мама?

Ей очень хотелось разукрасить и без того интересное трогательное зрелище этой предполагаемой сценой узнавания.

— Смотри, Тамара, — окликнула она свою дочь, жену следователя, — сейчас у нас тут будет, как в кино, — и, обернувшись к дивану, добавила: — Вот, Василек, видишь? Две дамы . . . Одна, стало быть, твоя мама. Ну-ка, выбери, которая?

И тут только я нашла наконец глазами то, что тщетно пыталась различить в кутерьме этого кутежа. Вот он! В углу широченного дивана неловко приткнулся худой подросток в потертой курточке.

Он встал. Показался мне довольно высоким, плечистым. Он ничем не напоминал того, четырехлетнего белобрысенького толстяка, что бегал двенадцать лет назад по большой казанской квартире. Тот и цветом волос и голубизной глаз был похож на деревенских мальчишек рязанской аксеновской породы. Этот был шатеном, глаза посерели и издали казались карими, как у Алеши. Вообще он больше походил на Алешу, чем на самого себя.

Все эти наблюдения делал как бы кто-то, стоящий вне меня. Сама же я, оглушенная, неспособная к какой-либо членораздельной мысли, была поглощена как будто только тем, чтобы встать на ногах, чтобы не свалиться под гулом ритмичного прибора крови, бьющего в виски, в затылок, в лицо . . .

Выбирать между мной и Юлей он не стал. Он подошел ко мне и смущенно положил мне руку на плечо. И тут я услышала, услышала наконец то самое слово, которого боялась не услышать веками, которое донеслось ко мне сейчас через пропасть почти двенадцати лет, через все суды, тюрьмы и этапы, через гибель моего первенца, через все эльгенские ночи.

— Мама! — сказал мой сын Вася.

— Узнал! — восхищенно закричала Козырева. — Вот она кровь-то! Всегда скажется . . . Видишь, Тамара?

Нет, глаза определенно не карие. Не Алешины. Те, карие, закрывшиеся навеки, не повторились. И все-таки . . . Как он похож на тогдашнего десятилетнего, нет, почти одиннадцатилетнего, Алешу! Оба мои сына как-то слились у меня в этот момент в один образ.

— Алешенька! — шепотом, почти произвольно вымолвила я.

И вдруг услышала глубокий глуховатый голос:

— Нет, мамочка. Я не Алеша. Я Вася.

И потом быстрым шепотом, на ухо:

— Не плачь при них . . .

И тут я справилась с собой. Я посмотрела на него так, как смотрят друг на друга самые близкие люди, знающие друг о друге все, члены одной семьи. Он понял этот взгляд. Это и был тот самый переломный в моей жизни момент, когда восстановилась распавшаяся связь времен, когда снова возникла глубинная органическая близость, порванная двенадцатью годами разлуки, жизнью среди чужих. Мой сын! И он знает, хоть я еще ничего ему не сказала, кто МЫ и кто ОНИ. Призывает меня не уронить своего достоинства перед НИМИ.

— Не бойся, сынок. Я не заплачу, — говорю я ему взглядом. А вслух деловым, почти спокойным голосом:

— Поблагодари Нину Константиновну, Васенька, и пойдем домой, нам пора.

Козырева посмотрела на меня с удивлением и нескрываемым разочарованием. Неужели я не буду долго рыдать, обнимая сына? Неужели не расскажу гостям о том, как страдала в разлуке? Не растрогаю ее зятя, который, хоть и выпил, а все-таки хмурится, глядя на странных гостей?

— Как домой? Да вы присядьте, выпейте хоть по чарке за встречу. Вот люди! Железные какие-то! И не прослезилась даже . . . Скажи, Тамара!

Нас еще долго тормозили, совали в руки бокалы с шампанским, а те из офицеров, кто был подобродушнее, — а может, по пьянее, — даже усаживали нас за стол. И Юлька, дипломатичная хозяйка утильцеа, выручила: присела на минутку и даже хлебнула вина, чтобы не обиделись, изъяснилась, махнув на нас с Васькой рукой, что оба мы совсем замотались: он — с дороги, мать — от долгого ожидания.

Это случилось девятого октября сорок восьмого года. Спустя одиннадцать лет и восемь месяцев я снова вела по улице своего второго сына, крепко держа его за руку.

Но как она тонка, эта ниточка, скрепившая порванную связь времен моей жизни, как она трепещет на ветру! Не дать ей порваться снова! Удержаться, удержаться во что бы то ни стало . . .

— Нет, Вася, ты пойми, что твоя мама добилась почти невозможного, — торопливо объясняла Юля, довольно невразумительно обрушивая на неподготовленную Васькину голову все мои перипетии с отделом кадров Дальстроя, с посещением Гридасовой, со сбором денег на дорогу . . .

Но, по существу, она права: я действительно добилась почти невозможного. Вот он идет рядом со мной, шагая шире, чем я, и несет в руках свое имущество: заплатанный стиранный-перестиранный рюкзак, похожий на наши лагерные узелки. И телогрейка на его плечах такая же, какие носят у нас в Эльгене. При мне на материке никто не носил таких телогреек. Наверно, появились в войну. Но все-таки меня ужасно коробит, что на Васе такое, почти лагерное одеяние . . . Уже маячит передо мной новая сверхзадача — пальто для Васи.

Мы шли и молчали, не находя слов для выражения того, слишком большого, что надо было сказать. Слово теперь было только за Юлей. И она без умолку говорила всю дорогу, объясняя Ваське сразу про все. И про то, как вырос Магадан, и какой он был раньше, и про замечательную среднюю школу, и про нашу новую очень просторную — пятнадцать метров! — комнату.

Но на ночь Юлька — спасибо ей! — оставила нас вдвоем, ушла под предлогом дежурства в свой цех. И вот тут-то началась наша первая беседа. Мы не заснули в эту ночь. Да и не хотелось даже помыслить о сне. Мы торопились узнать друг друга и радовались, что каждый узнавал в собеседнике самого себя. Удивительны, поистине удивительны законы генетики! Колдовство какое-то! Ребенок, не помнивший ни отца, ни мать, был похож на обоих не только внешне, но и вкусами, пристрастиями, привычками. Я вздрагивала, когда он поправлял волосы чисто аксеновским жестом. Я захлебывалась от радостного изумления, когда он в эту же первую ночь стал читать мне наизусть те самые стихи, с которыми я жила, погибала и снова жила все эти годы. Так же как я, он находил в поэзии опору против жестокости реального мира. Она — поэзия — была формой его сопротивления. В той первой ночной беседе с нами были и Блок, и Пастернак, и Ахматова. И я радовалась, что владею в изобилии тем, что ему от меня хгчется получить.

— Теперь я понимаю, что такое мать . . . Впервые понимаю. Раньше, особенно в раннем детстве, мне казалось, что тетя Ксения заботится обо мне, как мать. И она действительно заботилась, но . . .

Он раздумывает несколько минут. Потом формулирует довольно четко:

— Мать это прежде всего бескорыстие чувства. И еще . . . Еще вот что: ей можно читать свои любимые стихи, а если остановишься, она продолжит с прерванной строчки . . .

(Свет этой нашей первой магаданской беседы лег на все дальнейшие годы отношений с сыном. Бывало всякое. Ему выпал сложный путь, на котором его искушала и популярность у читателей, и далеко не беспристрастная хула конъюнктурной критики, и вторжение в его жизнь людей, органически чуждых и мне, да и ему самому. И в трудные минуты я всегда вспоминала прозрачный незамутненный родник его души, раскрывшийся передо мной в ту первую его колымскую ночь. И это всегда глушило мою тревогу. Я всегда знала, что внутри у него все та же чистая глубь. Остальное — накипь. Она стечет, когда река войдет в берега. И я оказалась права. Сейчас мой сорокатрехлетний сын такой же мой всепонимающий друг, как тот мальчуган, что приехал в Магадан с томиком Блока в потертом рюкзаке.)

Перед Васиным приездом вся магаданская колония бывших заключенных горячо обсуждала вопрос о том, как осветить первому нашему материковскому ребенку, прорвавшемуся сквозь оградительные заслоны полковника Франко, главный вопрос нашей жизни. Как мы сюда попали? Есть ли хоть крупница правды в предъявленных нам чудовищных обвинениях? Кто виноват в творимых жестокостях и несправедливостях? Одним словом — говорить ли ему правду? Всю ли правду?

Странно, но многие склонялись к тому, чтобы «не вносить в молодую душу неразрешимые сомнения». Даже Юля говорила: «Ему жить. А зная всю правду, жить трудно. И опасно». Только Антон доказывал горячо и страстно, что на лжи и даже на умолчаниях настоящих отношений с сыном не построишь, что надо заботиться прежде всего не о том, чтобы он был удачлив, а о том, чтобы был честен.

Я довольно терпимо выслушивала разные советы на эту тему, но внутри у меня сомнений не было. На первый же его вопрос «За что?», я ответила: «Не «за что?», а «почему?» И дальше с полной искренностью и правдивостью рассказала ему обо всем, через что прошла и что поняла на этом пути. Поняла я тогда, к сорок восьмому году, еще далеко не все. Однако многое.

Но даже если бы я и пыталась в ту ночь скрыть от него правду, мне это не удалось бы. Потому что он ловил все с полуслова. И то драгоценное, что возникло тогда между нами, было невысказано вне правды. Именно на переломе от девятого к десятому октября 1948 года, уже ближе к расцвету, я рассказала ему устно задуманные главы «Крутого маршрута». Он был первым слушателем . . .

Глава восьмая

КАРТОЧНЫЙ ДОМИК

Уже через несколько дней после своего приезда Вася сказал:

— Мама, надо бы что-нибудь живое в доме иметь. Щенка или котенка . . .

Он не знал, что такое скромное желание очень трудно выполнимо в тогдашнем Магадане. И собаки (не овчарки) и, тем более, кошки были здесь пока предметом импорта. Но мне удалось после долгих стараний раздобыть материковскую кошку Агафью, которая в дальнейшем

в течение нескольких лет была неотъемлемым членом нашей семьи. Очень грациозная, капризная в выборе еды, она несколько не походила на своих колымских родственников, проходивших в первом поколении процесс одомашнения. (Эти вчера еще дикие, похожие на маленьких тигров, коты, которых приручали некоторые наши знакомые, вызывали во мне отвращение.)

Агафья придавала нашему семейному очагу очень мирный традиционный вид. Она любила восседать прямо на столе, греясь у настольной лампы и мурлыча, как патриархальный самовар. Когда Вася садился за стол учить уроки, она меняла позицию, переходила к нему на плечи и возлежала так в виде роскошного горжета.

Вакантное место деда занял у нас в семье Яков Михайлович Уманский, верный своему слову репетировать Ваську по математике. Старик неуклонно прибывал в точно определенное время, медленно двигаясь своей походкой кашалота, но уходил только после того, как все задачи сходились с ответами, а это — увы! — не всегда удавалось. Яков Михалыч сперва каждый раз петушился, уверял, что в учебнике опечатка, потом грустнел, жаловался на склероз, вспоминал, что в свое время щелкал такие задачи как орехи. Помню несколько случаев, когда ему все-таки пришлось уйти, так и не решив задачи. Но каждый раз при этом он возвращался к нам в час-два ночи, не стесняясь ни расстоянием, ни погодой. С возгласом «Вася, вставай, я нашел ошибку!» он появлялся на пороге. Васька сонно мычал, говорил «черт с ней!», но старик, укутанный обледенелым башлыком, стоял как привидение до тех пор, пока Вася не встанет и не запишет правильного решения.

После отъезда своего друга Куприянова старик чувствовал себя одиноким и очень пристрастился ко всем нам, хотя с Антоном они постоянно и страстно спорили. Они не сходились во мнениях насчет Томаса Мора и Фомы Аквинского, насчет побочного действия сульфамидов и эффективности малых доз сулемы. Они классически иллюстрировали столкновение двух полярных психологических типов. Горячий, непримиримый, склонный к абсолютам ум Антона с разбегу наталкивался на скептическую иронию, на скорбное неверие старого добряка, сомневающегося в способности рода человеческого к высоким побуждениям. Особенной остроты достигали эти споры, когда дело доходило до одного из двух самых острых для Антона пунктов: до Мартина Лютера, которого Антон считал началом всех зол на земле, и до Самуила Ганнемана, основоположника гомеопатии, который, наоборот, был для Антона спасителем человечества.

Но как бы горячи ни были споры и взаимные перехлесты в обличениях, а стоило старику запоздать с визитом, как Антон уже тревожился, поглядывал на часы, говорил о высоком кровяном давлении Якова Михалыча и успокаивался только тогда, когда раздавалось знакомое шарканье глубоких резиновых галош, какие, бывало, носили казанские старьевщики.

Вася очень привязался к Якову Михалычу, хотя и довольно непочтительно хохотал над очаровательными стариковскими чудачествами. Всегда поглощенный какими-нибудь идеями, Уманский был рассеян до предела. К кошке Агафье он обращался на «вы»: «Агафья, подойдите сюда, — говорил он без всякой шутовности, — вот здесь хороший кусочек оленьего мяса. Правда, мне он не по зубам. Он немного жилистый... Но вы, я надеюсь, справитесь, а?»

Иногда старик читал нам стихи собственного сочинения. Это была какая-то нескончаемая поэма, излагавшая в хронологическом порядке

всю историю философии. Мы с Васей запомнили одну строфу про Лукреция Кара и забавляли друг друга декламацией, когда падало настроение и хотелось выйти из упадка. Я и до сих пор помню эту строфу: «Достоин похвалы Лукреций Кар. Он первый тайны разгадал природы. Безумных мыслей разогнав угар, он уголок обрел святой свободы».

Однажды Яков Михалыч, очень польщенный, сообщил, что его просили перевести с французского текст «Письма Периколы».

— Это для вокального исполнения . . . Одна певица обратилась. У нее в нотах французский текст.

Васька буквально катался по своей постели, корчась от хохота, когда Яков Михалыч патетически прочел: «Твоя, любящая тебя, хоть и рыдаю, Перикола» . . .

Вот так внешне идиллически был построенный нами картонный домик. Ни на секунду мы не отвлекались от ощущения тех грозных подземных толчков, которые непрерывно колебали почву под нашим хрупким сооружением. Ведь приближался сорок девятый год, и грозная атмосфера нового землетрясения сгущалась над нами. Каждый из нас в одиночку фиксировал про себя и увеличившееся количество прибывающих с материка этапов, и увольнение многих бывших заключенных с хороших работ. А Антон, кроме того, знал и о нарастающем закручивании режима внутри лагеря. Но говорить об этом у нас было запрещено. Чтобы не травмировать Ваську. Чтобы и самим себе не омрачать периода передышки. Жить как ни в чем не бывало . . .

И мы жили. А Васька — в нем уже и тогда проявлялись черты острой писательской наблюдательности, интереса к нестандартным людям — просто был счастлив временами, что может слушать никогда ранее не слышанные споры и разговоры. Он прожил всю свою сознательную жизнь в семье Аксеновых, где говорили и думали только о хлебе насущном, и его восхищали новые, впервые на Колыме встреченные люди, которых волновали отвлеченности вопреки бесхлебью собственной судьбы.

В наш картонный домик, как и положено в приличных семейных домах, приходили знакомые. Например, профессор Симорин с женой Таней. Они жили в маленькой халупке напротив нашего барака. У них был тоже лагерный роман, прошедший через пропасти запретов, разлук, безвестных отсутствий. Теперь оба они вышли из-за проволоки, были уже не зэка, а бывшие зэка и наслаждались собственной печкой и свободным «совместным проживанием». Симорин, блестящий эрудит, остроумец, бывший сердцеед, импонировал Ваське своими рассказами о предрестном прошлом, в которых фигурировали имена, встречавшиеся Васе только на обложках учебников. Под стать Симорину был и доктор Орлов, коллега Антона. Этот, правда, был молчаливее Симорина, но иногда «выдавал» интересные парадоксы по всем вопросам жизни.

Бывала у нас художница Вера Шухаева, рассказывавшая про Париж, про встречи с Модильяни, с Леже, про работы своего мужа. Теперь, накануне сорок девятого, Вера Шухаева работала в магаданском пошивочном ателье, где ей иногда удавалось придать приличный вид магаданским начальственным толстомясым дамам.

Наконец в нашем же коридоре гнездилась целая колония немцев, которые тоже постоянно бывали у нас. Ганс Мангардт, австриец с живописной бородой Санта Клауса, давнишний коммунист, попавший в Россию и прошедший массу всяческих авантюр, которые он теперь «осмысливал с марксистской точки зрения». Его жена Иоганна Вильке — бывшая машинистка в берлинском комитете компартии Германии. Вслед за ними

являлись все их земляки, которые пели хором немецкие песни, приводя в умиление Антона.

Появился и наш старый знакомый по Таскану Натан Штейнбергер. Он бесконечно мучился с устройством на работу. К Натану приехала теперь его настоящая материковская жена, освободившаяся из лагеря в Караганде. Это была шумная и очень требовательная по отношению к мужу женщина, так что мы с Антоном часто жалели о тех хороших часах, которые проводили на Таскане в обществе Натана. Теперь, при этой жене, спокойное вдумчивое общение с ним стало невозможным.

Среди наших немцев была и Гертруда Рихтер, игравшая в то время на рояле в оркестре магаданского дома культуры. Тогда это еще была болезненная, исхудавшая, всегда полуголодная женщина. У нас она находила гостеприимный кров, Антон лечил ее. В ее высказываниях и тогда уже было много всякой несурезицы, но все-таки мы никак не могли тогда предложить, что из нее со временем получится тихий правоверный оруженосец из королевской рати Вальтера Ульбрихта, каким она стала позднее в своем Лейпциге.

Были у меня теперь и вольные знакомые. И не только сослуживцы. Ведь я ходила на родительские собрания в Васину школу, да и Антон знакомил меня с некоторыми своими вольными пациентами из тех, кому вполне доверял.

Но с вольными всегда соблюдалась дистанция. Мы могли очень дружелюбно беседовать на нейтральной почве: в школе, на улице, в парке, в фойе кино «Горняк». Но ни им, ни нам никогда и в голову не приходило пригласить таких знакомых к себе домой. Единственные вольняшки, посещавшие наш дом, были Васины одноклассники. Но и то как-то само собой подобрались ребята с изъянами в анкетах. У Юры Акимова был в заключении отец, и они с мамой приехали к нему, когда он вышел из лагеря. Это было уже после Васиного приезда. Юра Маркелов, хоть и прибыл с мамой-договорницей, но она здесь вышла замуж за нашего старого тасканского знакомого, бывшего зэка, профессора Пентегова.

Благодаря Васиным приятелям у меня появился новый источник заработка: я стала репетировать некоторых ребят, отстававших по-русскому. Но все равно денег систематически не хватало. Так что, кроме таких классически-интеллигентских приработков, как репетированье, мы с Юлей не гнушались и тем, что со смехом называли прикосновением к частнособственнической стихии. Вечерами мы мережили и обвязывали так называемые носовые платки, квадратики, выкроенные из раздобытого Юлей утиля. По субботам за этой нашей продукцией приходил некий сомнительного вида дядька, именуемый в наших разговорах «контрагент». Он забирал готовые носовые платки и по воскресеньям торговал ими на магаданской барахолке. А так как в магазинах тогда и в помине не было подобных товаров, то по понедельникам он приносил нам вырученные деньги, отчислив в свою пользу довольно солидный процент. Совершенно не помню, в каких цифрах выражались эти торговые доходы, но помню, что они играли некоторую роль в нашем бюджете, в постоянных усилиях прокормить наше довольно большое семейство и многочисленных гостей. В послевоенном Магадане неважно приходилось тем, кто не получал северных надбавок и не входил в многоступенчатую систему закрытых распределителей. Тем более, что цены на рынке складывались с учетом огромных, находящихся в обращении денег.

Казалось бы, в этих условиях постоянного страха и нужды никто из нас не был заинтересован в дальнейшем увеличении нашей семьи. И все же . . .

Это случилось вскоре после Васиного приезда. Был обычный рабочий день. Я уже провела музыкальные занятия с младшими и средними. Оставалась старшая группа, и я привычно барабанила марш, под который они должны войти в зал. Ритмично шагая под музыку, дети обходили свой обычный круг, чтобы на конец музыки остановиться около своих стульчиков. И вдруг я заметила, что за подол последней в строю девочки держится малышка, не доросшая не только до старшей, но даже до младшей группы детского сада. У девочки были заплаканные светлые глаза, а на голове именно такой пушок, какой и полагается птенцу, выпавшему из гнезда.

Воспитательница быстрым шепотом объяснила мне, что мать ребенка, бывшая эзка, сунула заболевшую девочку в больницу, а сама скрылась, подкинула. . . Весной будет для таких детский этап в Комсомольск-на-Амуре, в спецдетдом. А пока вот мы должны возиться. В яслях, видите ли, мест нет. . . А мы вроде двужилые, нам все можно. . . И так в группе тридцать восемь душ. А эта не того возраста, да и плакса большая. Замучились с ней. . . Пусть посидит на музыкальном, может, отвлечется. . .

И она — ее звали Тоней — действительно отвлеклась. Она приложила ухо к блестящему полированному боку пианино и, услышав гудение, счастливо расхохоталась. Когда стали разучивать какую-то очередную русскую пляску, она вдруг поднялась и встала в общий круг. Ей было тогда год и десять месяцев. Но она двигалась ритмичнее шестилеток, в среду которых затесалась так неожиданно.

С тех пор так и повелось. Стоило мне войти утром в так называемый зал, как распаивалась дверь той группы, куда была временно подброшена Тоня, и она выбегала со всех ног, выкрикивая на ходу «Музыка пришла! Музыка пришла!» Говорила она для своего возраста и биографии на удивление хорошо. Не все наши четырехлетки имели такой запас слов и чистое произношенье.

Няни и воспитательницы очень охотно сплавляли Тоню ко мне, и она не плакала, не капризничала, просиживая около пианино со всеми группами поочередно. Со всеми пела и танцевала. А вообще-то была она очень нервна, впечатлительна, слезлива.

Однажды в субботу, когда шла раздача детей родителям на выходной, я задержалась у заведующей на каком-то совещании и вернулась в зал уже в сумерках. Эта странная приземистая комната, с несимметричными окнами, выглядела в пустоте и полутьме особенно мрачной. Единственным пятном на грязно-серых стенах, кроме черного силуэта пианино, был огромный, не по масштабам помещения, портрет генералиссимуса в орденах и красных лампадах. У подножия портрета, на самодельном пьедестале, всегда стояли искусственные цветы. Очень грубые цветы из кусков шелка, а то и просто из накрахмаленной марли. Но в детях воспитывался священный трепет перед этим алтарем, и даже самые отчаянные шалуны никогда не прикасались ни к цветам, ни к самому портрету.

Но сейчас кто-то возился у этих цветов. Какая-то крохотная фигурка теребила букет белых марлевых роз.

— Тоня? Что ты тут делаешь одна впотьмах?

Она ответила очень точно:

— Я тут плакаю. . .

Обычно Тоня плакала вслух. Громко рыдала и всхлипывала. Но в эти субботние сумерки, когда, отшумев, затих весь дом, она плакала беззвучно. Скорее всего уже обессилела от громких рыданий. Наверное, начала плакать, когда субботнее буйство было еще в полном разгаре, когда мальчишки с пернатыми криками скатывались вниз по перилам, кувиркаясь, как циркачи, девчонки визжали и ссорились, отыскивая свои

варежки или рейтузы в общей куче, а няни залиvisto кричали и на детей и на родителей. И над всей этой сутолокой висело слово «домой!» Его выкрикивали все дети, его повторяли родители, твердили няни. Кто же тогда мог услышать Тонины вопли?

— Домой, — повторила Тоня, — а это чего такое?

Откуда ей было знать? И как это можно было ей объяснить? Ее биография пока не включала этого странного понятия. У нее был эльгенский деткомбинат, больница, наш круглосуточный . . . А впереди детский этап в спецдетдом. И надо ли ей растолковывать, что такое «домой»?

— Пойдем в живой уголок, нальем кроликам воды, — странным деревянным голосом предложила я ей.

Нет, ей было не до кроликов, она досадливо отмахнулась от моего предложения.

И тут она вымолвила с неправдоподобной для ее возраста четкостью:

— А у меня нету дома . . .

. . . Когда я в эту субботу, договорившись с заведующей, привела Тоню в нашу комнату, никто особенно не удивился. Мне и раньше случалось приводить на воскресенье кого-нибудь из детей, оставшихся на выходной без отпуска. Только Вася недовольно сказал: «Уж очень маленькая! Будет мешать мне заниматься . . .»

Сама же Тоня с первого момента акклиматизировалась настолько, что, оглядев комнату, задала вопрос: «А где же моя кроватка?» Она вообще умела (и умеет до сих пор) мгновенно ориентироваться в незнакомой обстановке.

А в понедельник утром она категорически отказалась идти в детсад. Ей здесь понравилось, дома лучше, она останется тут с мамой (это слово она мгновенно переняла от Васи). Но маме надо работать! Ну ладно, Тоня согласна сходить туда провести музыкальное занятие, только чтобы сразу вернуться домой.

Заведующая детсадом не позволила мне взять ее в понедельник вечером. В субботу, когда никого нет, пожалуйста! А в будни нельзя. Могут в любой час нагряться инспектора, могут затребовать девочку для отправки на материк, в спецдетдом . . .

В эту же ночь — с понедельника на вторник — я сделала для себя странное открытие: оказывается, в субботу, когда здесь была Тоня, я спала спокойнее, меня не мучили кошмары на тему гибели Алешки. А они по-прежнему неотступно были со мной, даже после приезда Васи. Каждое чувство, связанное с Васей, — пусть и радостное, — было в то же время мучительным. Потому что я все время мысленно ставила рядом с Васей Алешу, примеряла и сопоставляла их характеры, растревляла себя фантастическими видениями наших бесед втроем . . . Он все время незримо стоял рядом с Васей, особенно по ночам, и я поднималась утром обессиленная своей молчаливой мукой, о которой я не смела сказать ни Антону (он считал страшным грехом мое упорное неумение смириться с потерей), ни Юле, ни тем более Ваське.

В следующую субботу Тоня долго не могла заснуть, ворочалась, вздыхала. А когда я присела на край кушетки, она вдруг взяла обеими руками мою руку и подсунула ее себе под щеку. У меня захватило дыхание. Потому что это был жест маленького Алешки. После кори с тяжелыми осложнениями, которую он перенес трех лет, он всегда требовал, чтобы я сидела с ним, пока не заснет, и именно таким вот движением подкладывал мою руку себе под щеку.

На секунду мне показалось, что даже взгляд ее похож на Алешин, хотя объективно в ее серо-голубых глазах не было ничего общего с кари-ми глазами моего ушедшего сына.

Теперь между субботами меня давил еще один этапный страх. До появления Тони я начинала каждое утро с мысли: не услали бы Антона, который, может быть, уже больше не нужен начальнику Дальстроя. Теперь, вдобавок к этому, я замирала от тоски и ужаса, открывая дверь детского сада: вдруг сейчас мне скажут, что сиротский этап в Комсомольск-на-Амуре уже ушел.

Сейчас это кажется неправдоподобным, однако факт, двухлетняя Тоня уже знала слово «этап». Оно витало в разговорах нянек — бывших ээка — да и в играх старших ребят — бывших питомцев эльгенского деткомбината. В одно из воскресений, сидя за нашим семейным столом, Тоня вдруг четко вымолвила, без всякой связи с общим разговором:

— Это у кого мамы нет — тех в этап . . . А у меня — мама . . .

Как раз за два дня до сиротского этапа Тоня заболела дифтеритом и ее положили в больницу.

— Ну, ваша Тоня отстала от большого транспорта. А следующий — через год, не раньше, — сказала мне заведующая детским садом.

В инфекционное отделение больницы меня, конечно, не пустили, и я утешала рыдающую Тонию знаками, стоя на завалинке у закрытого окна.

Недели через две врачиха объявила, что девочка практически здорова и ее можно бы выписать, будь она домашним ребенком. А в детский коллектив нельзя: она бациллоноситель. Вася дифтеритом болел, так что препятствий к тому, чтобы взять Тонию к себе, не было.

За полтора месяца, проведенных у нас, она прочно забыла все прошлые горести, стала меньше плакать, очень развилась умственно.

И опять то же странное наблюдение над собой я сделала за это время. Когда девочка здесь, моя тоска об Алеше становится менее раздражающей, она как бы отступает перед механичностью мелких бытовых забот о маленьком ребенке. Точно все эти манные каши, постирушки, укладывания и одевания, возвращая мне память о моем неутоленном материнстве, врачуют смертельно раненную душу.

Все мои домашние встретили в штыки мое предложение официально удочерить Тонию. Юлька особенно возмущалась:

— Нет, ты поистине мастер выдумывать себе новые пытки! Мало тебе того, что есть . . . Сама говорила, что домик наш — карточный. И правильно! Так куда же еще ребенка! Чужого! С неизвестной наследственностью! Уж поверь, что мать, подкинувшая дитя, не очень-то полноценные качества ей передала . . . Ну, а если нас опять заметут? Каково ей будет второй раз оставаться сиротой? Она хорошенькая! Ее охотно какая-нибудь бездетная полковница возьмет, и будет она там как сыр в масле кататься.

Вася, относившийся к Тоне с тем же добродушием, что и к кошке Агафье, никак не мог переключить этот вопрос в серьезную плоскость. Он молчал, но я видела, что все Юлины аргументы кажутся ему убедительными.

Антон подошел к моему намерению с другой стороны:

— А ты подумала, имеем ли мы право связывать судьбу ребенка с нашей обреченной судьбой?

Все это было очень огорчительно, хотя ничуть меня не убеждало. Ведь они не знали, не могли знать, что все их доводы от рассудка не имеют для меня никакого значения, что для меня появление Тони в моей жизни — не бытовое происшествие, а нечто тайное, почти мистически связанное с Алешей.

И я, выслушав все возражения, отправилась на другой день в отдел опеки и попечительства. Полный крах! Оказалось, что лица,

неблагонадежные в политическом отношении, правом усыновления не пользуются.

— Скажите спасибо, что на собственных детей материнства вас не лишили! Еще чего придумали — чужих усыновлять! — злобно отчитывала меня тетка, сидевшая в этом отделе и, очевидно, совсем ошалевшая от полного безделья, — и думать забудьте!

Под высокой прической у нее торчали ушки, маленькие, но оттопыренные, как у летучей мыши. Пухлые губы, извергавшие все эти словеса, были аккуратно намалеваны бантиком.

Вечером этого дня, когда мы оказались наедине с Антоном и я рассказала ему о своем визите в учреждение, решающее судьбы детей, он, видя мое горе, стал говорить о моей доброте, о том, что, конечно, девочке лучше всего было бы со мной, но . . .

— Господи! При чем тут моя доброта! Никакой тут доброты нет . . . Ну ты-то, ты-то разве не понимаешь, что Тоня нужна мне больше, чем я ей?

Услышав эти слова, Антон осекся, задумался . . . Больше он никогда не сказал ни слова о неблагодарности этого поступка.

(На протяжении дальнейших тринадцати лет он был для Тони больше, чем родным отцом. К несчастью, он умер, когда Тоне шел всего только пятнадцатый год. И все овраги и рытвины ее юности мне пришлось преодолевать уже без него. Юлины предсказания насчет неизвестной наследственности в какой-то мере сбылись. Были моменты, когда я впадала в полное отчаяние, не зная, как справиться с недоступными моему пониманию, моему складу поступками. Но ни разу за все двадцать семь лет, что она — моя дочь (сейчас, когда я пишу это, ей двадцать девять и она актриса Ленинградского Театра комедии), ни единого раза я не пожалела о том, что я взяла ее. И горе, и радость, доставляемые ею, я воспринимаю всегда как органическую часть моей жизни, моей судьбы. А ощущение, что я не могла пройти мимо нее, так и осталось.)

. . . А между тем на нашу страну, на всю восточную Европу, а в первую очередь на наши каторжные места надвигался сорок девятый год — родной брат тридцать седьмого.

Мы ощущали его грозное приближение, безотчетно — а иногда и сознательно — улавливали его шаги. Но, верные своему принципу — использовать передышку до конца, жили как ни в чем не бывало. Даже участвовали в новогодних вечерах. Антона, правда, в этот вечер не пустили из лагеря. Но каждый из нас — Юля, Вася, я — встретили этот зловеющий год среди хороших людей, окруженные всеобщим доброжелательством и симпатией. Я сочинила сценарий для всех работников детских садов и сама же была ведущей на этом вечере. Юля — в своем цехе, Вася — в школе.

Никогда мы не говорили вслух о нависших над нами завистливых бедах. И только ночами, когда мешаются сон и явь, когда теряешь контроль над словами и мыслями, когда расслабляется пружина многолетнего напряжения — только в это время торжествуют чудища. Они встают перед глазами одно за другим, они хватают тебя липкими хваткими пальцами за горло. Вот они . . .

Дальние этапы, суды и пересуды над Антоном. Вторичный арест — мой или Юлин, или обеих вместе. Вася, оставшийся в одиночестве на этой дальней планете. Тонин этап в Комсомольск-на-Амуре.

Сохраню ль к судьбе презренье? Понесу ль навстречу ей непреклонность и терпенье гордой юности моей?

Сорок девятый . . . Сорок девятый . . .

ПО АЛФАВИТУ

Сначала поползли зловещие слухи с материка. Говорили, что город Александров Владимирской области (сто первый километр от Москвы), где поселились многие бывшие заключенные, вернувшиеся в сорок седьмом, опустошается с непреклонной систематичностью. Каждую ночь увозят по несколько человек. Называли и определенные фамилии, многие из которых были нам знакомы.

По ночам мы с Юлей, скрываясь от Васьки, перешептывались на эту тревожную тему. При этом мы неизменно одобряли друг друга за дальновидность. Как мы были правы, оставшись на Колыме! Юля горячо надеялась и меня уверяла, что на этой дальней планете «брать не будут». Здесь мы и так изолированы от всего мира. Да и как здесь обойтись без бывших заключенных! Все производство на них держится . . .

Нет, не только чужой, но даже и свой собственный опыт ничему не учит. Мы по-прежнему пытались прогнозировать свое и общее будущее исходя из разумных посылок. Ничему мы не научились за двенадцать лет. Все так же недоступна была нам логика, вернее, алогизм злодейства. Или, может быть, мы нарочито отмахивались от беспощадных предвидений, чтобы оторвать в свою пользу еще месяц, неделю, день . . .

Очевидно, не только мы, но и вольняшки скромных чинов не подозревали ничего о готовящейся массовой акции. По крайней мере на моей работе все шло мирно, тихо, почти идиллично. Прошла елка в детском саду. Потом и утренник в честь Дня Советской Армии. Дети маршировали в костюмах всех родов войск. Методисты часто созывали совещания, на которых меня неизменно хвалили. Я действительно уже набила руку на сценариях утренников, выдумывала разные различия, развлекала детей и взрослых. Однажды я даже выступала со своими ребятами по радио, и дикторша, не сообразив, объявила с разбегу мою фамилию. И хотя ей, бедняге, за это потом здорово досталось, но все наши бывшие ээка усмотрели в этом факте серьезный симптом либерализации.

И вдруг . . . Вдруг в один злосчастный день все мы узнали, что здесь, у нас в Магадане, повторно арестованы двое наших. Первый из них — Антонов — работал где-то бухгалтером. Второй — Авербах (или Авербух) — жил в нижнем этаже нашего барака. Это был тихий замкнутый человек, который вежливо здоровался, но никогда не останавливался при встречах.

Вспыхнувшую общую тревогу стали немедленно гасить всякими домыслами и «достоверными» слухами. Ведь Антонов, дескать, имел большой подотчет и, конечно, его арест связан с денежной недостаточей. А второй? Ну, второй, оказывается, был когда-то раньше активным сионистом. Сейчас, после создания государства Израиль, — это модный товар. Наверно, решили проверить его старые связи. Проверят и отпустят . . .

Через некоторое время взяли Аню Виноградову и доктора Вольберга, популярного в городе врача. И снова — сначала паника, потом взаимные утешения: это скорее всего какой-нибудь неудачный лечебный случай . . . Виноградова ведь тоже медик, фельдшерница. Вот их и обвиняют в смерти какого-то больного.

Никто не хотел верить, что начались массовые повторные аресты. По крайней мере никто не хотел признаться в этом не только друг другу, но даже самому себе. Оглядываясь назад, на это страшное время, просто двинься намеренной слепоте людей: как можно было не задуматься над очевидностью, над тем, что в Магадане с каждым днем все шире,

глубже и бесцеремоннее укоренялось управление нового министерства — МГБ, реорганизованного из НКВД, что этому новому управлению отдают лучшие здания города, вплоть до таких крепостей, как здание Маглага, что уже вошли в быт выражения «красный дом» и «белый дом» — две их цитадели. Казалось бы, нам, опытным людям, отсидевшим десять лет и два года прожившим на магаданской «воле», надо было хоть повнимательней приглядеться к лицам и повадкам наехавших откуда-то молодых офицеров МГБ, которые с хозяйским выражением энергичных упитанных лиц сновали по улицам города. Их все увеличивающееся количество уже само по себе должно было наводить на мысль о планируемых новых акциях. Но мы не хотели замечать всего этого, а еще больше не хотели над этим раздумывать.

Позднее выяснилось, что повторные аресты уже шли вовсю, а мы не замечали их массовости потому, что дело осуществлялось во всеколымском масштабе, по единому списку. Так что на город Магадан падали пока более или менее единичные случаи. Так или иначе мы благополучно дожили до осени сорок девятого. Устоял наш карточный домик до самого октября месяца. Вася перешел в десятый класс. Тоня опять уцелела от повторного детского этапа, так как по нынешнему приказу отправлялись только дети с пятилетнего возраста, а ей было всего три года. И судьба еще даровала нам четыре замечательные недели в пионерлагере «Северный Артек», куда мне разрешили взять с собой Ваську. А Тоня поехала туда же с детским садом. Ваське нравилась экзотическая природа, он много бродил по сопкам, окреп, загорел. Тоня, пользуясь отпускными вольностями, не отходила от меня ни на шаг. И сентябрь — единственный колымский месяц, милостивый к людям, — как всегда, щедро одаривал нас нежным желтоватым солнцем, паутиной, брусникой, кедровыми орешками, проказами шустрых бурундуков.

И как же я цеплялась за каждый такой денек, чувствуя, зная почти точно, что вот уходит, утекает, просачивается между пальцами моя с таким трудом построенная новая жизнь! Пусть убогая, нищая, отравленная постоянным страхом, но все-таки жизнь. С Васей, с Тоней, с Антоном, с Юлькой . . . Но вот подходит к концу и эта передышка. Скала, нависшая над нами, готова ежеминутно рухнуть.

В «Северном Артеке» отвлекаться от эмгебистского комплекса было легче: сюда не доходили городские слухи. Зато к середине сентября, когда мы вернулись в Магадан, сомневаться в близкой катастрофе стало уже невозможно. Все бывшие ээка ходили как придавленные, при встречах на улице вместо приветствия вполголоса называли все новые и новые фамилии взятых. Никто из арестованных пока не вернулся. Судьба их была укрыта прочной тайной. Последовательность арестов и цель их тоже не прояснялась.

Первым догадался старик Уманский. Однажды, позанимавшись с Васей алгеброй, он сел на кушетку, утомленно откинулся к стене, закрыл глаза и неожиданно попросил:

— Карандашика нет у вас?

Исписав страничку своего блокнота короткими строчками, Яков Михайч поднялся с кушетки и воскликнул:

— Эврика! Все ясно! По алфавиту . . .

Мы все были в этот момент дома. Но уже не было теперь веселых застольных бесед, как в сорок восьмом. Теперь все молчали, стараясь не смотреть в глаза друг другу, чтобы не увидеть в них отражение собственного великого Страха. Даже Тоня, чувствуя общую подавленность, говорила с куклой шепотом.

— Что по алфавиту?

— Арестовывают повторников. По алфавиту! Вот послушайте . . . Я привел в систему. Вот те фамилии, которые нам известны по Магадану . . .

И он стал читать. Антонов, Авербух, Астафьев, Берсенева, Бланк, Батурина, Вольберг, Виноградова, Венедиктов . . .

— Чепуха! — горячо воскликнул Антон, кидая на Уманского гневные многозначительные взгляды. — Случайное совпадение!

Но я-то сразу поняла все. Знакомый удушливый спазм перехватил горло. Кульминация Страха. А . . . Б . . . В . . . Но ведь в таком случае — следующая буква моя! И Антон тоже сразу понял это, потому и кричит на Уманского и делает ему глазами знаки — не пугать заранее Васю.

— Нелепые домыслы, — повторял Антон раздраженно. А я вспомнила, что в последнее время он каждый раз тревожно оглядывается, входя по вечерам в нашу комнату, и облегченно вздыхает, увидев меня.

Постучали в дверь. Вошла наша соседка Иоганна. Бледна как смерть.

— Гертруду взяли, — сказала она и плюхнулась на стул, как в обморок.

Это был снаряд, упавший уже совсем рядом. Гертруда — чуть ли не ежедневная наша гостя. Гертруда — партийный ортодокс, бывший берлинский доктор философии, мастерица на заковыристые силлогизмы, призванные объяснить и теоретически обосновать любые действия гениального Сталина.

— Чем она могла провиниться, играя на рояле в оркестре дома культуры? — растерянно сказала Юля.

— Тем же, чем вы в своем утильцехе, а ваша подруга — в детском саду. Все виноваты лишь в том, что ЕМУ хочется кушать, — ответил Уманский. — Странные вопросы из уст человека, просидевшего столько лет. Пора понять. Массовая акция. Повторные аресты бывших ээка. По алфавиту . . .

— А вот и осрамялись вы со своими изысканиями, — сердито бросил Антон, — фамилия Гертруды — Рихтер . . . Буква Р . . .

Да, действительно! После Б — и вдруг Р. Может быть, Уманский и впрямь ошибается . . . Но он спокойно возразил:

— Я сам был бы рад ошибиться. Но, к несчастью, я прав. Дело в том, что у Гертруды Фридриховны двойная фамилия — Рихтер-Барток. Вернее, Барток-Рихтер . . . Так что она явно прошла на Б.

С этого дня Вася стал иногда опасливо спрашивать меня: «Мама, а тебе не страшно?», на что я отвечала: «Бог милостив» . . .

Обычно он спрашивал об этом перед сном. Мысль об аресте связывалась с ночью.

Но это случилось опять днем, так же как в тридцать седьмом. Я вела музыкальное занятие в старшей группе. Приближались октябрьские праздники, и надо было усиленно готовить детей к утреннику. Дети под руководством воспитательницы разучивали песню «И Сталин с трибуны высокой с улыбкой глядит на ребят». Аккомпанемент был какой-то трудный, и я уже дважды сфальшивила, не взяв бемоля.

В этот момент двое мужчин в штатском — один молодой, другой постарше — вошли в музыкальную комнату, по-хозяйски дернув дверь.

— Сюда нельзя, здесь музыкальное занятие, — строго сказала им шестилетняя Белла Рубина. Ей уже скоро должно было исполниться семь, и она очень ценила свою роль старшей в группе.

Но вошедшие посмотрели сквозь девочку как сквозь воздух. Они вообще вели себя так, точно в комнате не сидело тридцать восемь человек детей. Они видели только меня. Им была нужна только я. Тот, кто помоложе, небрежно вынул из бокового кармашка небольшой твердый

билет с золотыми буквами и бегло показал его мне. Слово «безопасность» я успела схватить взглядом. Его спутник сказал вполголоса:

— Следуйте за нами!

— Евгеничка Семеновка! Не ходите! — закричал, вскакивая со своего места, Эдик Климов.

Образ его встревоженного, раскрасневшегося лица преследовал меня потом в тюрьме. Безошибочность детской интуиции! Почуял опасность, грудью ринулся, как всхохленный боевой воробышек, — защитить, предостеречь . . .

Но в это время вошла заведующая. Она тоже была вся в красных пятнах и старалась не смотреть на меня.

— Евгения Семеновна сейчас вернется, — сказала она детям. — А пока я побуду с вами . . .

Наверху, в кабинете заведующей, мне предъявили ордер на арест и обыск. Все было оформлено законно, с санкцией прокурора.

— Сейчас мы проедем в вашу квартиру для обыска, — объяснил мне один из рыцарей госбезопасности.

— Я не сделаю ни шага, пока вы не дадите мне возможность повидать сына. Он в школе. Остается на краю земли, один, без куска хлеба. Я должна поговорить с ним перед расставаньем, объяснить ему, куда он может обратиться за помощью.

Старший из рыцарей пожал плечами.

— Ну что ж, пожалуй . . . Школа рядом. Мы на легковой машине. Заедем за ним . . .

Вася рассказывал потом, что он сразу понял все, когда во время урока приоткрылась дверь класса и раздался повелительный голос: «Аксенов! На выход!» Да и многие ученики поняли, в чем дело. Здесь, на краю земли, лишними церемониями не злоупотребляли, и повадки «белого дома» (а также и «красного») были хорошо известны населению.

Через минуту мы уже были вчетвером в машине с завешенными шелковыми шторками окнами: я, два рыцаря, бесстрашно осуществляющие опасную операцию по задержанию видной террористки, и мой младший сын, которому довелось в семнадцатилетнем возрасте уже вторично провожать мать в тюрьму. Он казался сейчас совсем мальчиком. У него тряслись губы, и он повторял: «Мамочка . . . Мамочка . . .»

Мучительным внутренним усилием я старалась сосредоточиться на практических мыслях. Ведь я должна была тут же, за оставшиеся несколько минут решить, какие инструкции дать Васе. Сказать ему, чтобы телеграфировал на материк, а получив деньги на обратный путь, возвращался в Казань? Или сказать, чтобы он оставался здесь до конца десятого класса? Ведь Юлина буква К еще не скоро. Может, и до весны дотянут . . . Но если возьмут Юлю, то отнимут комнату, и Вася может остаться не только без хлеба, но и без крыши. Что сможет сделать для него при этом заключенный Антон? За Тоню в этом смысле можно было не беспокоиться — сыта и в тепле будет. Хорошо, что я отвела ее как раз сегодня в детский сад . . .

Обыск проводился как-то небрежно, точно нехотя. Управилась за пятнадцать минут, которые я использовала, чтобы собрать себе узелок и показать Васе, где его белье и одежда. Денег, как назло, совсем не было, зарплату должны были выдавать завтра. Я написала Васе доверенность, но не была уверена, что деньги отдадут. Если судить по тридцать седьмому, то ничего не выйдет: тогда у нас пропали и вещи, и книги, и зарплата, и гонорары . . .

— Подпишите протокол обыска, — приказали рыцари. — Изъято четырнадцать листов материалов . . .

— Господи, да какие же это материалы? Ведь это сказка «Кот в сапогах»! Я ее переделала в диалогах для кукольного театра.

— Там разберутся, что для детей, а что для взрослых, — загадочно протянул старший рыцарь. Потом он вдруг начал корить Васю, который не мог сдержать слез:

— Стыдитесь, молодой человек! Вам семнадцать лет. Я в ваши годы уже семью кормил . . .

Васька сорвался. Ответил грубо:

— При этой профессии семью прокормить нетрудно. А я четырех лет остался круглым сиротой, а теперь, когда с таким трудом добрался наконец до матери, вы снова отнимаете ее . . .

И тут молодой рыцарь не выдержал. В нем проснулось что-то человеческое.

— Ненадолго, — пробурчал он, — не расстраивайтесь, это совсем не то, что в тридцать седьмом. Новый год встречать будете вместе. И не езжай никуда, парени! Кончай десятый здесь, а то год потеряешь . . .

Я, конечно, не поверила ни одному его слову. В тридцать седьмом тоже вызвали на сорок минут. Но хорошо, что хоть лжет благожелательно, успокаивает Васю.

Я наконец решаюсь дать Васе совет, как быть. Пусть он пошлет моей сестре телеграмму, что я опасно больна, пусть попросит денег на обратный путь. Но когда получит деньги, пусть положит их на книжку и продолжает учиться в Магадане. А деньги — для страховки. Чтобы в случае крайней необходимости было на что уехать. Он понимает намек на возможный арест Юли и кивает мне в знак того, что понял. Молодой рыцарь ворчит: «Никуда ехать не придется . . .»

Мы подписали протокол обыска и изъятия «Кота в сапогах». Я узнала таким образом фамилии рыцарей. Молодой — Ченцов, постарше — Палей.

Я обнимаю Ваську. Выходим в коридор. Из всех дверей — испуганные лица. Анна Феликсовна, старуха-немка, живущая у Иоганны, удивленно говорит вполголоса: «Опять за старое? Опять матерей от ребят уведят?»

В машине со мной рядом усаживается Палей. Ченцов — с водителем. Поднимаю глаза на наше окно и вижу, что Васька отодвинул стол и вплотную приник к стеклу. Это видение было потом моей смертной мукой в тюрьме. Даже сейчас, много лет спустя, писать об этом больно. Стараясь полаконичнее.

Мы остановились у «белого дома». Плохой признак. По нашему эзковскому телеграфу передавалось, что именно «в белом» — избранное общество. «Красный дом» — рангом ниже, он для более массовых акций. Еще более массовых! «Белый дом» ранит меня еще и потому, что это — бывшее помещение Маглага, где сидела Гридасова и где мне в прошлом году удалось получить разрешение на въезд Васи. Ради нового всемогущего министерства потеснили даже колымскую королеву. С какими надеждами я сходила с этого крыльца в прошлом году!

Меня заводят в машинописное бюро, где мои рыцари оформляют еще что-то бумажное насчет меня. А я сижу на табуретке в ожидании отправки в тюрьму. Машинистка неопытная, стучит двумя пальцами, то и дело испытывает орфографические сомнения.

— «Произведенный» — два НЫ или одно? — с детской доверчивостью вопрошает она Ченцова, а тот бросает пылливый взгляд на меня.

— Д-два, — неуверенно говорит он с вопросительной интонацией. И я подтверждаю кивком головы. Да, два НЫ . . .

Мне почему-то вдруг делается жалко и Ченцова и машинистку. Бедные люди! Ничего-то не знают . . . Ни сколько НЫ, ни что такое хорошо, ни что

такое плохо. Но эта неожиданная жалость так же внезапно сменяется раздражением против бессмысленно-голубых, глазированных глаз машинистки, против таких же глазированных, только черных, сапог Ченцова, нелепо вылезавших из-под штатского пальто. Хоть бы уж скорей в тюрьму, в общую камеру, к своим . . .

В канцелярии тюрьмы пахнет пылью, табаком, чесноком, влажными солдатскими шинелями. Какой-то истукан с физиономией пожилого усталого дога шарит по моим карманам и долго глубокомысленно разглядывает целлулоидную кукольную ногу, которую Тоня оторвала от своего голыша, а я сунула в карман, чтобы потом попытаться приделать. Истукан должен составить список изъятых при поступлении моих «личных вещей». Он уже записал: «Шпилек головных — три (в скобках прописью — три), карандаш химический — один (опять в скобках прописью — один)». А вот дальше он в затруднении. Как записать кукольную ногу? Он смотрит ее на свет. Ничего . . . Просвечивает . . . Послуниев толстый палец, трет ее. Опять ничего . . . Не меняет консистенции . . . Наконец он спрашивает: «Это чё у вас?» И с облегчением вздыхает, услышав мой ответ: «Обломок игрушки». Формулировка подходит для списка. Под сведениями о химическом карандаше появляется строчка: «Обломок игрушки». И опять-таки неуклонно прописью — один.

Но на этом процедура по охране государственной безопасности еще не окончена. В действие еще вводится неопрятная баба, в задачу которой входит «личный обыск». Устанавливаю, что техника этого дела за последнее десятилетие ничуть не изменилась, нимало не продвинулась вперед. Баба действует точно так же, как ее коллеги в Бутырках, Лефортове, Ярославке. Разве что более провинциальна в повадках.

Короткий переход по сводчатым гулким коридорам. Тарахтенье ключей. Взвизг камерной двери. Ужасная камера! Вонючая, сырая, тесная. От каменного пола — хватающий за пятки холод. Из передвигаемой мебели — одна параша. Уродливое окно. Оно, правда, довольно большое, доступное дневному свету. Пламенистый круг отраженного солнца словно печать, которой мы снова отгорожены от мира жизни.

— Женя! Женя!

Это хором и поодиночке твердят заключенные женщины. Они мне знакомы, все, до одной. Это повторницы. Наши, эльгенские. Они теребят меня, расспрашивают, требуют информации. Я кратко объясняю им, кто взята за последние дни, какая погода на улице, что пишут в газетах, чем торгуют в магазинах. Но им этого мало. Прежде всего они хотят знать, почему взяли именно нас, а не других лиц той же преступной категории. Из допросов, которым они тут подвергаются, это абсолютно не проясняется.

Перебивая друг друга, они высказывают разные глубокомысленные соображения по этому поводу. Интереснее всех соображения Гертруды. Она вещает со вторых нар, как пророк Моисей с горы Синай. Недаром она доктор философии, да еще коренная германская немка, райхсдойче. Фрау доктор выводит наши аресты прямоком из Марксовой теории познания, ленинской теории империализма, а также из последней встречи итальянского и афганского министров иностранных дел.

Пока она проповедует, я проверяю остроумную догадку старика Уманского. Та-а-ак . . . А . . . Алимбекова, Артамонова . . . Б — пожалуйста — Барток, Берсенева, В — Васильева, Виноградова, Вейс . . . Г — Гаврилова, Гинзбург . . .

— Хватит, Гертруда, — говорю я, устало махнув рукой. — Оглянись вокруг и перейди от теоретических обобщений, так сказать, к эмпирическому восприятию реального мира.

Она понимает меня по-своему и шепчет по-немецки:

— Если знаешь что-нибудь важное, не говори вслух. Тут есть разные . . .

— О Господи! Опять . . . Тринадцатый год сидишь, и все тебе кажется, что все кругом разные. Только ты не разная . . . Достойная секретов и государственных тайн . . .

— В чем дело? — обиженно осведомляется Гертруда.

— Да в том, что по алфавиту! Не смотри на меня как на безумную! Повторяю арестовывают по алфавиту! Вот оглянись кругом . . . А, В, В, Г . . .

В этот момент дверь камеры снова раскрылась, и мы увидели стоящую на пороге незнакомую бледную женщину средних лет.

— Как ваша фамилия? — почти хором спросили мы.

— Голубева, — ответила она тихо, — Нина Голубева из Оротукана.

В камере воцарилась мертвая тишина.

Глава десятая

ДОМ ВАСЬКОВА

Самое страшное — это когда злодейство становится повседневностью. Привычными буднями, затянувшимися на десятилетия. В тридцать седьмом оно — злодейство — выступало в монументально-трагическом жанре. Дракон полыхал алым пламенем, грохотал свинцовыми громами, наотмашь разил раскаленными мечами.

Сейчас, в сорок девятом, Змей Горыныч, зевая от пресыщения и скуки, не торопясь составлял алфавитные списки уничтожаемых и не гнушался «Котом в сапогах» как вещественной уликой террористической деятельности.

Скуки стало не только на поверхности Драконова царства, где с каждым днем уменьшалось количество слов и оборотов, нужных для поддержания жизни, но и в его подземных владениях, в его Аиде, где тоже воцарилась банальная унылость.

Тогда, двенадцать лет назад, арест стал открытием мира для правоверной хунвейбинки, которая пятнадцатого февраля 1937 года переступила порог тюрьмы на казанском «Черном озере». Раскрылось неизвестное и даже неподозреваемое подземелье. Пробудилась совсем было атрофированная потребность находить самостоятельные ответы на проклятые вопросы. Жгучий интерес к этому первооткрытию пересиливал даже остроту собственной боли.

Теперь я не находила в себе ни любознательности, ни даже любопытства, ни интереса к душам палачей и жертв. Все было уже ясно. Я уже знала, что все строится по трафарету, мне были известны расхожие стандарты гонителей и гонимых.

Тогда, в тридцать седьмом, впервые осознав свою личную ответственность за все, я мечтала очиститься страданием.

Теперь, в сорок девятом, я уже знала, что страдание очищает только в определенной дозе. Когда оно затягивается на десятилетия и вырастает в будни, оно уже не очищает. Оно просто превращает в деревяшку. И если я еще сохраняла живую душу в своей «вольной» магаданской жизни, то теперь-то, после второго ареста, одереветению обязательно.

Вот я лежу на верхних нарах между Гертрудой и Настей Берсеновой, и единственное, что я испытываю — это отвращение. Ко всему. К нищенскому пайку неба из-за решетки и деревянного щита. К разглагольствованиям Гертруды и к возгласам Ани Виноградовой, которая с утра до

вечера подробно и смачно прокликает следователей. К себе самой. Одно омерзение . . .

Еще за год до второго ареста меня приводило в трепет само название «дом Васькова». Когда о человеке говорили: «Он был в доме Васькова», — это значило, что он прошел более высокий, нам неизвестный круг ада. Слова «Дом Васькова» могли сравняться по своему зловещему звучанию только со словом «Серпантинка» — таежная тюрьма.

Но вот я лежу на нарах дома Васькова и не испытываю ужаса. Омерзение — да. А ужаса нет. Я уже деревянная, мне все равно. Меня теперь не столько потрясает главное, сколько раздражают отдельные детали. Вот, например, селедочный запах. У меня к нему идиосинкразия. Как бы я ни была голодна, я никогда и в руки не беру тюремную или лагерную селедку. А здесь и Гертруда и Настя, между которыми я лежу в положении спички между двумя другими спичками, каждое утро раздражают селедку пальцами. И их пальцы — а они на уровне моего лица — весь день и всю ночь источают тошнотворный рыбий жир. И мне кажется, что в доме Васькова нет ничего более ужасного, чем этот селедочный дух, помноженный на вонь парашаи.

Следствие? Это очень странное следствие. Вот как была «странная война», так это — «странное следствие». Его окутывает такая же липкая тягучая скука, какая оплела весь дом Васькова. Молодой следователь Гайдуков даже не прячет этой скуки. Он откровенно зевает, потягивается, а иногда, не выдержав, прямо в моем присутствии звонит по телефону в соседнюю комнату и делится с товарищем последними футбольными новостями. Стенки в «белом доме», куда меня возят на допросы, тонкие, я довольно хорошо слышу и без телефона, что отвечает насчет футбола другой молодой следователь, приятель Гайдукова.

Боже мой! Что сказали бы мои первые инквизиторы — Царевский, Веверс, майор Ельшин, если бы увидели все это! С каким азартом, гневом, коварством, а иногда и с притворной ласковостью они вели это дело! И все это для того, чтобы спокойный, слегка подверженный сплину Гайдуков переписывал спустя двенадцать лет каллиграфическим почерком эти пламенные протоколы!

Никаких новых обвинений мне не предъявляли. Никаких «признаний» не требовали. Все, что я говорила, Гайдуков без малейших извращений безропотно записывал в протокол. Даже записал мои слова о незаконных методах следствия в тридцать седьмом году. Тогда я еще не знала выражения «до лампочки». Но ему безусловно все было именно до нее.

Однажды, подписывая что-то, я заметила, что в папке лежит бумажка, видимо послужившая для мотивировки моего нынешнего ареста. Я успела прочесть слова «По подозрению в продолжении террористической деятельности».

— Да что же это такое! — не сдержалась я. — Это в детском саду, что ли, я террористическую деятельность продолжала?

Гайдуков равнодушно скользнул глазами по бумажке и, не повышая голоса, ответил:

— Так это же просто для оформления . . . А что же вам писать, когда у вас старая статья пятьдесят восемь-восемь и одиннадцать? Террористическая группа . . . Шпионаж или вредительство ведь не напишешь, правда?

Вообще он был, что называется, безвредный парень, службист. Он разрешил мне получать из дому передачи. И я получила узелок, весь состоящий из съедобных символов. Два лагерных пончика. Это знак, что Антон ходит к Васе. Это он принес со своего карпункта премиальное докторское блюдо лагерного меню. Два бутерброда с яйцом и килькой.

Такие продают в школьном буфете. Значит, Вася продолжает ходить в школу. Наконец варенные в постном масле кусочки теста, так называемый «хворост», — Юлино фирменное блюдо. Знак того, что Юлька пока дома.

Однажды мне на редкость повезло. Меня повезли на допрос не ночью, как обычно, а среди белого дня. И выходя из ворот дома Васькова, я увидела своего Ваську, стоящего с узелком передачи у вахты. И он увидел меня. Меня охватила короткая, но острая радость. Вот он — жив-здоров и неплохо выглядит. Не улетел на материк, не растерялся, не бросил последний класс школы. И ходит к матери с передачей, не боится, а если и боится, то преодолевает свой страх, хоть, может, его и терзают за это в комсомольской организации.

И я широко улыбнулась ему, садясь в машину, и рукой помахала. (Потом, когда встретились, он все удивлялся: почему ты такая веселая была?)

Но прошла эта минутная утеха, и снова — беспробудное отчаяние. Опять, опять заключенная . . . Опять привычное выматывающее ощущение конвоя за спиной. Точно и не прерывалось. Ночные бессонные мысли шли теперь сплошным некрологом. И так и этак поворачивала свою жизнь, но любой поворот вел к единственной избавительнице — смерти. Ведь нельзя же в самом деле дать им в руки вторично, вновь пойти по эльгенским кругам. Нет, я не думала о самоубийстве, тем более — о конкретных его формах. Я знала, что это не потребуется. Достаточно было только перестать сопротивляться ей — и она придет.

Как потом выяснилось, нас арестовали ВСЕГО ТОЛЬКО для того, чтобы оформить нам по приговору особого совещания МГБ вечное, пожизненное поселение. Для этого требовалось переписать старое дело, отправить его фельдъегерской связью в Москву, дожидаться, пока там проштампуют (а очередь шла во всесоюзном масштабе) и наконец получить приговор опять все при помощи той же неторопливой фельдъегерской связи. На это уходило пять-шесть месяцев . . . Полгода в доме Васькова!

Ах, если бы мы знали это! Если бы хоть догадывались о таких гуманных намерениях! Тогда хватило бы сил переносить эту камеру. Ведь поселение — не лагерь. Это без конвоя, без колючей проволоки, в своей конуре, со своими близкими . . .

Но следователи не имели права сообщать нам о том, что нам грозит и что не грозит. (Только мой молодой рыцарь госбезопасности Ченцов, обнаруживший при обыске у видной террористки «Кота в сапогах», пытался намекнуть нам с Васькой, что теперь «совсем не то, что в тридцать седьмом году». И хоть я тогда, наученная всей многолетней ложью, и не поверила ему, а ведь оказалось правдой. И я задним числом благодарна Ченцову за эту его человеческую попытку утешить и рада за него, что у него дрогнуло сердце, не выдержав нашего с Васей прощания.)

Но все это узналось позднее. А пока мы, несчастные обладатели фамилий с начальными буквами алфавита, так сказать, первопроходцы сорок девятого года, должны были на собственных судьбах узнать, каковы цели этой повторной акции. И нас терзал призрак нового лагерного срока. Мы ждали полного повторения всей программы тридцать седьмого, а это было свыше человеческих сил.

Поэтому я и готовилась по ночам к смерти, перебирала всю свою жизнь, все боли, беды, обиды. И все свои великие вины. Читала про себя наизусть по-немецки католические молитвы, которым научил меня Антон. И впервые в жизни мечтала о церкви как о прибежище. Как это, наверно, целительно — войти в храм. Прислониться лбом к колонне. Она

прохладная и чистая. Никого вокруг не замечать. Но чувствовать чью-то невидимую руку на своей голове. Ты один знаешь, как я устала, Господи . . .

. . . Днем и ночью в камере спорили о том, что с нами будет. Назывались новые чудовищные сроки. Двадцать лет . . . Двадцать пять . . . Только Гертруда проявляла оптимизм. Уверяла, что будут созданы какие-то промежуточные формы гетто для бывших заключенных, нечто среднее между лагерем и вольным поселением.

— Цум байшпиль, колькоз «Красная репа», — заканчивала она на своем воляпюке. Это было не лишено остроумия, и главное — всем хотелось, чтобы это было правдой. С тех пор разговоры о том, что нас ждет — лагерь или поселение — формулировался кратко: Эльген или «Красная репа»?

Наступили ноябрьские праздники. В соответствии с лучшими традициями начальство дома Васькова отметило их гигантским обыском. Следователи не работали три дня, никуда никого не вызывали, и тоска, охватившая герметически закупоренную камеру, как бы материализовалась, стелась по полу грязными пятнами.

И вдруг среди этой могильной тишины, в ночь на девятое, загремели замки, захряхтела ржавым голосом дверь камеры. Меня! На допрос!

Через минуту я уже жадно вдыхала морозный ноябрьский воздух, стоя у вахты в ожидании машины. Здесь возили на допросы на легкой. Я незаметно покрутила ручку, спускающую боковое стекло, и полакомилась кислородцем. Конвоир сделал вид, что не заметил.

Гайдуков после праздников был какой-то отекий и еще более равнодушный, чем обычно.

— Ну вот и оформили вас, — эпически сказал он, похлопывая ладонью по толстой розовой папке моего «дела». Это было то самое дело, заведенное еще в тридцать седьмом году. Только папка была новая, свежая, с четкой печатной надписью наверху: «Хранить вечно». Под этой надписью — другая, вся через дефисы: ВЧК-ОГПУ-НКВД-МВД-МГБ. Если прикинуть литераторским глазом, то в папке не меньше двадцати печатных листов.

— Неужели все обо мне? — вяло поинтересовалась я.

— А то о ком же? — удивился Гайдуков.

Вдруг на его столе зазвонил телефон.

— Да, да, — несколько оживившись, подтвердил мой следователь, — да, у меня. Слушаю, товарищ полковник . . . Сию минуту, товарищ полковник . . .

Обернувшись ко мне, следователь сообщил:

— Вас желает видеть наш начальник — полковник Цирульницкий. Следуйте за мной!

У полковника был очень импозантный, почти вельможный вид. Он был в меру высок и в меру дороден, с орлиным носом, с живописной сединой в еще густых волосах. К его внешности подошла бы средневековая кардинальская мантия. Но орденские колодки, разноцветной мозаикой теснившиеся на его груди, напоминали, что заслуги его связаны отнюдь не со средними веками.

— Садитесь! — Это мне. — Можете идти . . . — Это Гайдукову.

Дальше пошло непонятное, необъяснимое! Полковник вдруг сбросил с лица всю важность и заговорил, называя меня по имени-отчеству, точно за чайным столом.

— Какой у вас чудный мальчик! Он приходил за разрешением на передачу. Я любовался им. И как смело он с нами разговаривает! Обычно ведь нас боятся . . .

Он произнес последние слова со странной интонацией. Не с важностью, не с самодовольством, а даже с каким-то оттенком горечи.

— У вас один мальчик? — спросил он.

Это было именно тот вопрос, которого я не могла перенести. Я долго молчала, мысленно твердя себе Васину просьбу: «Не плачь при них!» Пауза затянулась. Полковник с недоумением глядел на меня.

— Было два. После того, как вмешались в мою жизнь, стал один.

— Война?

— Блокада. Ленинград.

— Но ведь это и при вас могло случиться.

— Нет. Я бы из огня живого вынесла.

Теперь полковник смотрел на меня просто-таки с необъяснимым чувством. Я внутренне одернула себя. Что это я? Еще не изучила за двенадцать лет их ухватки? Сейчас, наверно, предложит освободить меня. В обмен на определенные услуги. И я отвечаю на добрый взгляд настроенным враждебным взглядом. Полковник усмехается.

— Не любите вы нас . . .

— И с чего бы . . . — непроизвольно слетает с моих губ. Тут же пугаюсь. Добился-таки он своего, сбил меня с официального тона. А сейчас, убедившись, что ничего со мной не выходит, начнет расправу. Вспоминаю рассказы о карцерах дома Васькова.

Но полковник и не думает злиться. Постукивает карандашом по настольному стеклу и задумчиво говорит, как бы размышляя вслух:

— Да, удивительный у вас мальчик. У меня такой же . . . То есть такой же по возрасту. А вот хватило ли бы у него смелости в нужный момент идти заступаться за отца в такое страшное место — этого я не знаю. Так что видите — в каждой беде есть и хорошая сторона. Теперь вы убедились, как ваш сынок вас любит.

Нет, оказывается, я еще не совсем одеревенела. Слова о сыновней любви, да еще произнесенные полковником МГБ в «белом доме», вдруг потрясли меня. И я нарушила обет, не соблюла Васькину просьбу: заплакала при них.

Полковник с неожиданной легкостью встал со своего места, налил воды в стакан, поднес мне. Я судорожно глотала воду, стуча зубами о стекло. И вдруг различила совсем уж немыслимую в этих устах фразу:

— Я знаю, что вы ни в чем не виноваты . . .

Да что же это такое? Какое-то уж совсем чудовищное коварство? Или . . . Или . . . Неужели искренно?

— Да, я это знаю, — продолжал полковник. — Но сделать из этого все выводы — выше моих возможностей. Однако облегчить ваше положение могу. И сделаю это. Вот читайте!

Он вынул из ящика папку с бумагами. Протянул мне эту папку и подвинул ближе настольную лампу.

Я долго читала механически, от волнения не в силах связать казенные слова в смысловое целое. Фразы пузырились и лопались, не оставляя следа. Но вот наконец кое-что проясняется.

Бумага адресована в особое совещание при МГБ СССР. Это копия той, что уже отправлена в Москву. «Направляется дело такой-то по обвинению» . . . бу-бу-бу-бу-бу . . . Ну, это все условный код, применяемый в царстве Змея Горыныча. Но вот и суть! «Для ссылки на поселение» . . . Ссылка на поселение! Колхоз «Красная репа»! Счастье! Значит, не Эльген, не лагерь, не колючая проволока . . . Значит, небо надо мной будет открытое?

Поднимаю на полковника счастливые глаза.

— Поселение? Вольное поселение? С семьей можно?

— Да. И из тюрьмы вы тоже скоро выйдете. Осталось несколько дней.

Он протягивает мне другую бумажку. Это копия письма, посланного им прокурору. Он ходатайствует, чтобы в отношении меня была изменена «мера пресечения», чтобы «содержание под стражей заменить подписанием о невыезде». И мотивирует просьбу тем, что остался без средств к существованию несовершеннолетний сын.

— Видите? Я превратил вашего семнадцатилетнего сына в ребенка, чтобы вас выпустить.

— И что прокурор?

— Согласен. Я говорил с ним сегодня. Но официальной резолюции еще нет. Обещал завтра. Ну, пока бумагу проведут через все канцелярские каналы, пройдет еще дней пять. Считайте, что через неделю будете дома, с сыном. Вас вызовут с вещами. Это будет — на волю. Работать будете на старом месте.

У меня мелькает мысль — попросить его тут же дать разрешение на удочерение Тони. Но он уже нажал кнопку звонка, и в дверях уже стоит пришедший за мной конвоир.

— Уведите арестованную, — приказывает полковник, почти не разжимая губ. Лицо у него снова вельможное, непроницаемое. И все, что он сейчас говорил мне, кажется какой-то фантаσμαгорией, сном, увиденным на ходу.

В камеру я возвращаюсь на рассвете. Уже раздают кипяток, хлеб, селедку. Проходя по тюремному двору, я только что хлебнула свежего ноябрьского воздуха, и после этого едкая селедочная вонь валит меня с ног. И вообще после эфемерных видений, показанных мне полковником Цирульницким, реальность камеры еще более непереносима.

— Ты бледна как смерть, — говорит Гертруда, — что они сказали тебе?

— Потом . . . — отвечаю я и, отказавшись не только от селедки, но и от хлеба, ложусь на нары и закрываю глаза.

Чтобы не сглазить, не разрушить мечту, я решила никому не говорить о странном поведении полковника.

День. Второй. Третий. Надежда и отчаяние. Отчаяние и надежда. Вокруг меня люди, лежащие плотно, как кильки в банке, а я чувствую себя одинокой, как единственный фонарь на пустынной площади.

На четвертый день мне принесли очередную передачу — узелок с едой. Это был знак полного поражения. Ведь если бы меня действительно собирались выпускать, то передачу не приняли бы. Значит, ничего не вышло. Наверное, прокурор не подписал.

К концу пятых суток, ночью, когда от тоски я ощущала корешок каждого волоса на голове, я не выдержала: разбудила Гертруду и рассказала ей весь разговор с полковником.

— О Женя! Ви думм бист ду! — воскликнула Гертруда и произнесла целую речь, в которой выражала изумление, что я могла хоть на минуту довериться таким полковничьим речам. Ну ясно, хотел что-то почувствовать . . . Втереться в доверие. Расположить к себе. Ничего не требовал? Подожди, еще потребует . . .

Я устыдилась. Действительно, нет пределов моей глупой доверчивости. Даже ортодоксальная Гертруда реально смотрит на «гуманизм» тюремщиков. И все же . . . Сотни раз я точно проигрывала пластинку, мысленно воспроизводя все речи полковника. Ведь не во сне же . . . Хорошо, пусть врал. Но ведь бумагу про ссылку на поселение я читала собственными глазами. Впрочем, что им стоит сфабриковать любую бумагу?

И еще пять дней. Только девятнадцатого ноября, когда я окончательно и безвозвратно окунулась сожженной душой в тюремное полубытие, только тогда и раздались эти уже не чаемые слова: «С вещами!»

В ответ вскочила не я одна. Все мои соседки повскакали со своих мест. Потому что это было эпохальное событие для всех нас. Отсюда еще никого не брали с вещами. Значит, судьба одной уже решена. И это эталон всех остальных судеб.

Конвойр стоял в дверях все время, пока я собирала вещи, так что обменяться какими-нибудь словами мы не могли. Да и не нужны были слова. Понятны были взгляды. «Сообща как-нибудь . . .» «При малейшей возможности . . .»

Через несколько минут я была уже в конторе тюрьмы. Там сидел тот самый истукан, что месяц назад составлял опись моих «личных вещей». Сейчас он щепетильно выложил их передо мной: мои три шпильки, один химический карандаш и — главное — целлулоидную пухлую ногу Тониного голыша. Обожаю строгую законность!

— Распишитесь!

Вошел мой следователь Гайдуков. Я даже не подозревала, что у него может быть такое веселое доброжелательное лицо.

— Ну вот и все, — сказал он. — Обедать будете уже дома. Сейчас заедем вместе на машине в прокуратуру, я возьму там на вас бумажку и тут же высажу вас и отпущу на все четыре стороны. В пределах Магадана, конечно . . .

Увидав его благодушное настроение, я задумываю сложное дело.

— Гражданин следователь! Я забыла в камере очки. Без них я не могу читать.

Это была наглая ложь. В то время я еще очками не пользовалась. Гайдуков послал истукана в камеру, но тот возвратился, естественно, ни с чем. Мифических очков не нашли.

— Разрешите мне самой на минуточку. Вместе с конвоиром. Я ничего не буду говорить.

Это полное нарушение режима. Но Гайдукову сегодня хочется быть добрым до конца. Он идет со мной сам. Отчаянно торопит, но я, роюсь на верхних нарах, успеваю шепнуть Гертруде заветный пароль — «Красная репа». Теперь хоть они не будут бояться новых лагерных сроков.

За те десять минут, что мне приходится ждать Гайдукова в машине, остановившейся возле здания прокуратуры, все демоны снова неистово впиваются в мое сознание. Десятки предположений, одно другого страшнее. Вот сейчас выйдет и скажет, что прокурор отказал. И обратно в тюрьму. Или коварно ухмыльнется и объявит, ради какой дьявольщины полковник Цирульнички был так добр ко мне. Я совершенно не могу себе представить, что бы это такое могло быть, но уж наверняка самое беспросветное, беспросветное, бессовестное . . . А тогда, значит, опять-таки останется только смерть.

— Можете идти домой, — говорит, открывая дверку машины, Гайдуков. И таким добрым голосом говорит, что я краснею от своих предположений. Вот во что я превратилась! Уж до того замаяла меня жизнь, что я совсем потеряла способность верить во что-нибудь хорошее. А между тем вот оно — чудо! Я иду домой. Домой! Кто-то помог мне выбраться из пропасти, а я, вместо того чтобы благодарить и размышлять, что даже в главной резиденции Змея Горыныча есть люди, не лишённые доступа к добру, — вместо всего этого я судорожно ищу подвохов, подставленных ножек.

— Спасибо, — искренне говорю я, адресуя эти слова не Гайдукову, а куда-то поверх его головы.

— На здоровье, — улыбается он и добавляет: — Завтра приходите к часу в «белый дом», ко мне, чтобы оформить подписку о невыезде.

Эмгестистская легковая машина исчезает за углом, а я остаюсь на мостовой с большим плохо связанным узлом в руках. Боясь неожиданных этапов, мои домашние натаскали мне в тюрьму всяких теплых тряпок, и вот теперь я изнемогаю под тяжестью этого груза. Да и от воздуха отвыкла за этот месяц в зловонии васьковской камеры. Еле иду. Голова кружится, ноги подкашиваются.

Совсем обессилив, ставлю узел на землю и останавливаюсь перевести дух. Вдруг слышу тихое «ох!». Около меня остановилась наша методистка из дошкольного методкабинета. Та самая Александра Михайловна Шильникова, что делала доклад о трогательной любви детей к Великому и Мудрому. Она смотрит на меня, и я словно впервые вижу ее типично уральское высоколобое лицо с мягким ртом и большими круглыми глазами. Оказывается, очень человеческое лицо, если с него смыть официальный служебный налет.

— Отпустили? — допытывается она. — Совсем отпустили?

— Насчет «совсем» ничего определенного сказать нельзя. Но и «пока» — тоже неплохо. Пока отпустили. Вот пытаюсь добраться домой . . .

— Давайте я помогу нести узел. Вы, видно, очень ослабли . . .

Мы медленно поднимаемся в гору, приближаясь к нашему Гарлему. И Александра Михайловна, методистка, от которой я за два года слышала столько узорчатых слов о задачах дошкольного воспитания, тащит мой пыльный тюремный узел, предлагает денег займы, сует мне в карман какие-то свертки из своей хозяйственной сумки. Вот, оказывается, какие настоящие зеленые ростки у нее в душе, глубоко внутри, под слоем бумажных гофрированных мертвых цветов.

(После двадцатого съезда, после чтения доклада Хрущева, Александра Михайловна подошла ко мне как-то и сказала: «Боже, как я была близорука! Как идеализировала этого человека! — (Она теперь даже не могла выговорить еще недавно дорогое ей имя.) — Вы, наверно, зная все, считали меня безнадежной . . .» «Нет, — ответила я, — за вами ведь заячий тулупчик» . . . «Какой тулупчик?» — «А узел-то мой тюремный . . . Помните, помогали тащить . . .»)

Уже неподалеку от нашего барака мы вдруг встретили Ваську. Он шел нам навстречу со своим школьным приятелем Феликсом Чернецким. От неожиданности мы не сразу бросились друг к другу.

(Потом Вася рассказывал, что Феликс, увидев меня, сказал: «Вон идет твоя мама». А Вася принял за шутку и резко сказал: «И не стыдно издеваться над ТАКИМ?»)

— Вася!

И опять у него стало совсем детское лицо. Как тогда, когда меня уводили.

— Мамочка!

Ах, до чего же уютен наш закопченный кривой коридор! Как домовито и оседло пахнет жареным луком! И как родны мне все эти люди, тут же набежавшие к нашим дверям!

Антон придет только вечером. Он шагает ежедневно по восемь километров пешком, носит Васе свой лагерный ужин. Тогда я побегу сейчас же в детский сад, за Тоней, чтобы вечером мы были опять все вместе. Все вместе.

В детском саду мертвый час. Дети спят. Зато все воспитательницы, няни, сестры окружают меня с таким искренним теплом и сочувствием, что как бы стирают с моей души все, что на ней накопилось за этот месяц в доме Васькова. Узнаю, что в праздник они носили Васе гостинцы —

пирожки, конфеты . . . Как добры люди! Вчерашние мысли о смерти кажутся мне невозможными, точно это и не приходило мне в голову . . .

Няня из Тониной группы кается и просит прощения. Так ревела девчонка, маму звала, что пришлось ей соврать: умерла, мол, мама, не придет больше.

— Не ждали ведь вас обратно-то . . . Уж извините . . .

По пути домой Тоня, вцепившаяся в мою руку мертвой хваткой, болтает о разном, но время от времени переспрашивает: «А ты больше не умрешь?»

Юля обязательно хочет сделать Антону сюрприз, и вечером, перед его приходом, она приказывает мне взять Тоню на руки и посидеть за ширмой. И хотя я с большей радостью встретила бы его даже не в комнате, а в коридоре, но Юльке отказать не могу. Пусть потешится.

Я слышу, как Антон входит, снимает галоши у дверей, тяжело вздыхает, кладет что-то на стол и напоминает Васе, что завтра в тюрьме день передач. И вдруг Тоня не выдерживает конспирации.

— А мама больше не будет умирать, — объявляет она, соскакивая с моих колен и выбегая из-за ширмы.

Антон так дергает ширму, что она падает на пол с ужасным грохотом. На шум опять сбегаются соседи.

— Ты? Ты? — повторяет Антон.

Соседи вокруг нас утирают слезы. А мы с Антоном не плачем. Он все твердит: «Как исхудала!» А я: «Ничего, поправлюсь . . .»

Ночь. Антон ушел в лагерь, Юля — в цех, в ночную смену. Тоня спит на кушетке. Только мы с Васькой все говорим, лежа в постелях. Уже несколько раз он желал мне спокойной ночи, но разговор вспыхивает все снова и снова.

Наконец я засыпаю, сохраняя даже во сне чувство острого физического наслаждения от чистой простыни и пододеяльника. Меня будит Васин голос.

— Мама, ты спишь?

— Да. А что?

— Ничего. Я только хотел сказать: спокойной ночи, мамочка . . .

И через полчаса опять:

— Спокойной ночи, мамочка . . .

Продолжение следует



ОТ ГИБЕЛИ ВСЕГО НА ВОЛОСОК

Перевел Сергей МОРЕЙНО

Латышский поэт Янис РОКПЕЛНИС родился в 1945 г. в Риге. Изучал психологию и философию в Ленинградском, затем в Латвийском государственном университете. В 1981 году получил диплом преподавателя философии.

Работал истопником на заводе, старшим научным сотрудником Художественного музея Латвийской ССР, членом сценарно-редакционной коллегии Рижской киностудии, заведующим отделом поэзии газеты «Литература ун мексла», литконсультантом журнала «Родинки».

Автор и соавтор многочисленных сценариев кукольных фильмов, автор сценария учебного фильма об А. Чехе. Выступает в печати со статьями по искусству и литературно-критическими статьями. Под псевдонимом Янис Каналмалиетис публикует сатирические и юмористические стихи.

Издал сборники стихов: «Звезда, тань птицы и другие» (1975), «Абориген Риги» (1981), «Поезд из городе Р.» (1986). Переводил произведения И. Анненского, А. Блока, М. Цветаевой, Мехтумиули и других поэтов.

У МОРЯ

конец, начало — раковины створки
нам нужно выжить между двух огней
не думая про жемчуг; в нашем море
он, знаешь, не растет; зато янтарь
не сын морской, а дрогнувшее время
ползет, ломая сосны под собой
нас осень залнавет янтарем
зима выкусывает равнодушной пастью
и нужно выжить между двух огней
забыть про жемчуг; борозду свою
меж двух захлопнувшихся створок протянуть
не янтарем, не жемчугом — землею

* * *

я кость от черной рижской кости
меня как Ригу можно гробить
хоть сотни листьев и колосьев
сплетаются в моей утробе
я с башнями сравниюсь в росте
и конурой расплющен буду
я кость от черной рижской кости
я злость от черной рижской злости
не вырван с мясом ниоткуда

ВОРОН НА ЯБЛОНЕ

ворон яблоне не подходит
это обуглившаяся жар-птица
давно не топленая печь
комок пепла

по какому праву
он здесь расклевывает
яблоки с невозмутимым спокойствием

его права не вписаны в конституции
ни сказок ни государств

это только закон естества
которым он руководствуется
но естественные законы всегда
казались нам неестественными

* * *

все труднее зябликов нести
для продажи на птичий рынок
эти зяблики тяжелеют
год от года

словно что-то у них на сердце
эта тяжесть ломает весы
эта тяжесть ломает весы
даже те что стоят на бойнях

* * *

в нашем фольклоре новеньком
песни народов-братьев
настенные надписи анекдоты
судим
рядим
все блюстители порядка
становятся фольклористами
покуда Кришьянис Барон !!
за новый шкафчик не принялся

* * *

обламывая папиросы
он трубку набивал пустую
и запашок до нас доносит
когда оттуда ветры дуют

обламывая чьи-то жизни
он землю набивал пустую
и в тех местах земля не дышит
зима конвойная лютует

восходят души сизым дымом
не на трибуны много выше
так долго воздух был задымлен
от трубки уж давно остывшей

* * *

я стал слишком древним
меня продают в антикварных лавках
где собраны мои ровесники
и почки прихватывает могильный камень
Лесного кладбища

вся желчь Риги
свернулась во мне клубком

от старой извозчицей лошади
остался лишь смех лошадиный
я точно так же смеюсь

мой плач архаичен
слезами стеклят оконные рамы

мостовой вековые зерна
смолоты мельницами-подростками
таков мой хлеб

долго-долго я должен сбрасывать годы
чтобы стать хотя бы старым
не древним

* * *

Мы снова шли. Куда? Один лишь бог
Тебе ответит, — если нет, спроси
В любом болоте лешего, он знает.
Мы вымесили воду и песок
И вытоптали плешь в густом тумане,
Казалось странным то, что мы — живые —
Вот так идем дорогою, которой
Лишь тени шли. Мы видели пространство
Сосушим время. Вырос каждый миг
Без смысла, без границ, без горизонта,
Сквозь зиму просочилась вдруг весна,
И выцвела зима осенним вздохом.
О, жажда времени . . . Пространства хлеб скупой
Царапал десны нам, и губы отзывались
На каждый звук, на глиняное слово:
Хоть каплю времени нам — губы освежить,
Хоть каплю календарных суток нашим глоткам . . .

ПОПАСТЬ В КОЛОДЕЦ

Конечно, я не прыгал в колодец.
Один раз да,
меня хотели бросить в него,
как дохлого пса,
однако в последний момент
нашли подходящего парня,
который не станет просиживать брюки,
как я.

Никто по своей воле
в трясину не лезет.
В ней живут не русалки,
а хмурый болотный черт.
Зато колодец
не просит рекомендаций —
ни из милиции,
ни даже подписанных классиками литературы.
Поэтому хотелось бы туда попасть.

Если нельзя сверху,
то нужно пытаться сбоку.
И вот я рыл, рыл, рыл,
выполнил норму кандидата в мастера для кротов,
но — наткнулся на сруб.
Снова прокол.

Сруб, конечно, есть форма — и только,
все же, сколько я помню,
я еще был
в плену формализма —
не стал
топориком
сруб крошить на куски.

В тот раз пришлось вылезать
обратно на свет.

И все-таки —
как же в колодец
к воде и звездам пробиться?

Взял лопату (не купленную в магазине, тупую,
как все предыдущие мои усилья,
а честно служившую
цеху землекопов).

И потихоньку
выкопал свой колодец,
сам
до самого дна.

Сначала в нем был
только мой пот,
потом вода,
потом звезды,
потом, наконец, путник
попросил напиток . . .

* * *

Из болотной руды ковались мои доспехи,
а сверху дата изготовления: сегодня.
Кто же копал руду в заветных курземских чащах
и, прикинувшись изготовителем канджи —
иначе как объяснишь эту мифологическую машинерию —
добыл готовую кольчугу, на которой
нет фирменного знака «Herzog Jakob», но что-то
нечитабельно понятное, как пояс из Лиелварде? . . . Да, кстати,
обыкновенны эти доспехи: для песен и мотыльков —
дверь нараспашку, зато абсолютно надежны
против пуха и низкопоклонства.

* * *

эй третье блюдо официант
ты мне не принес до сих пор
и музыка скорби черт бы побрал
в корчме похожей на морг

а улица так за стеклом хороша
тревожные листья и дамы
трясущейся ручкою просит душа
сверкающих мелодрам

* * *

Гадкий утенок, как тебя трут,
Чтобы пришелся всем по нутру.
Гадкий утенок, ты из обрезков
Разных оттенков, нежных и резких.
Душа еще гнется, как тело спросонок,
Смажь ею перья, гадкий утенок.

В РИГЕ

Анатоли Имерманису

Моя кровь без ошейника ходит
В переулках, где горличий рай.
Я не дам осекаться породе,
Ветром каменным врубленный в край.

Я булыжником взят на поруки,
Кирпичами, что плещут в крови.
У нее, как у уличной суки,
Есть для всех поцелуй по любви.

Ходит кровь без стыда и без чести,
Закипая на каждом огне . . .
Не сдаваясь, покамест нас вместе
Не потянет к последней стене.

* * *

распаренных часов там запах тает
и циферблата влажное лицо
нам говорило: резвых беглецов
и лошадей бог хромотой карает

не миг трепещущий но тягостная власть
дней скошенных гнет в корытах наших
и месяц к спицам оводом припавший
кровавой влаги насосется всласть

нам царственные грезилась кобылы
конюшен избранных, да ветер прямо в лоб
но жеребята бегали вполсилы

а мы неслись не разбирая троп
так что нам вслед часы ползли уныло
хоть старым скакунам и не пристал галоп

* * *

мой язык уплывает не споря
от твоей серебристой слюны
в час когда унимается море
и видит сны

над сосновой болезненной чащей
над волной затирающей след
выпадает все чаще все чаще
белый снег белый снег белый снег

верно он только отзвук проклятья
друг случайных бессмысленных фраз
этот снег оборвавший объятья
наших рук наших губ наших глаз

* * *

там в коридоре завывает ветер
звонит топор сколачивая клеть
я встал в дверях но никого не встретил
лишь паучок уныло штопал сеть

все узелки давно прогнили в доме
в нем мыши отмечают рождество
крестят детей и умерших хоронят
и стали вели забывать родство

там паутина оплетает плиты
давно прогнили в доме узелки
но в тех ячейках наши вздохи скрыты
их ободрать не сыщется руки

на паутинках повисают души
как только в очагах огонь потушат

* * *

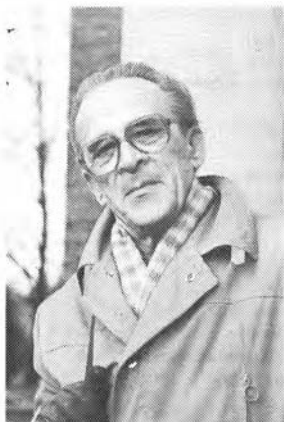
А это значит (звездный сух песок):
Была звезда (а теплый берег рядом,
Здесь под ногами, можно даже взглядом . . .)
От гибели всего на волосок.

СНЕГ В ПИБАЛГЕ

Кольца, кольца — башни срубов,
колокольни вверх ногами,
за меня стыдятся, рябины
раскраснелись докрасна.

Промолчит трава под снегом,
дескать, пусть расскажет камень,
но и камень нем, как рыба,
дескать, пусть начнет мороз.

Разбежались подголки
босиком, на лапках ватных,
ступишь шаг и раздается:
все забыто, все забыто.



ОЙ, МАМОЧКИ, МАМУЛЕНЬКИ!

Рассказ

Перевел Леон ГВИН

Валентин ЯКОБСОН родился в 1922 году и пережил почти всё, что было суждено пережить его поколению. Его воспоминания «Мы так и не перешли на «ты»» опубликованы в журнале «Даугава», 1988, № 9.

Якобсон дебютировал со сборником рассказов «Завтрак на траве» в 1986 году. Это пока единственная книга писателя. Рассказ, который мы предлагаем читателям, был опубликован в журнале «Карогс», 1988 г., № 4.

Европа взволнована.

— Тибрют! — восклицает она, и в голосе ее слышится ликование.

Само собой, сия Европа отнюдь не та прелестная дочь финикийского царя Агенора, которую возжелал и, обернувшись быком, похитил громовержец Зевс. Увел, как выразился бы наш учтивый современник. Эта родилась в годы нэпа на берегах Ветлуги, верстах в двенадцати от провинциального городка Красные Баки. Папаша ихний Трифон был лесоруб и плотогон, но непутевый малый, а мамаша Фрося — в тамошней рыболовецкой артели повараха. Европе стукнуло шесть, когда ненастной осенней ночью, будучи навеселе, батя сиганул с плота в кипящую бурунами Ветлугу и, не сказав последнего прости, крестом себя не осенив, сгинул навеки. Прошло десять лет, и безо всякой видимой причины померла родительница Фрося. Больше никого на всем белом свете у Европы не было.

Сиротка томилась унаследованной от плотогона Трифона жадной дальних странствий и перенятой от поварахи Фроси тягой к жизни изящной и красивой. С первым весенним ветром из тлевшей в груди искры возгорелось пламя. Насушила она сухарей, собрала торбу, села на проходящий плот и поплыла в Чебоксары. Бог наградил Европу завидной попочкой и смазливый личиком, почище чем у Веры Холодной. Благодаря рожице, а может, заднице устроилась она вскорости уборщицей

в хапторговской чайной, где работала справно. На потребительских харчах быстро отъелась и оформилась, сделавшись и по выходке самой что ни есть городской. Женишков у ней было как собак нерезаных, пальцев не хватит, чтобы сосчитать. Замуж чин-чинарем, официально, выскакивала она раз пять или шесть, но ни с одним дольше трех-четырёх месяцев не жила, а почему — леший знает. И, понятное дело, спустя несколько лет вновь заняла у Европы душа. Смутные чувства обуяли дочь своих родителей, заторопилась она в дорогу и — прощай, Чебоксары. Покатилось яблочко, пока в один прекрасный день не докатилось до Риги. Город Европе понравился, хороший город — мужчины обходительные и рынок культурный. Поскольку в Риге привечают специалистов, она быстро нашла себе жилье, а в молочном кафе на улице Суворова — работу, сборщицей посуды. От сладкой жизни расплнела Европа до неприличия, облепилась страсть и под конец так оборзела, что стала хамить всем кряду. В добропорядочном заведении, известно, публике не хмят, по крайней мере так значится в правилах, снабженных должными закорючками и печатью; посетители норовили заполучить жалобную книгу, и когда это им удавалось, оставляли отзывы хуже не придумать. Терпение начальства, неустанно, день в день боровшегося за превращение Риги в город образцового обслуживания населения, лопнуло. Миг ужасный, но справедливый настал, и Европу выставили за дверь. Общество выдавило прыщ на пречистом теле своем.

Европа не бросилась под трамвай, не убежала назад в Чебоксары и уж, конечно, не подумала искать другую работу. Ибо была социально защищенной личностью, имела право на пенсию и в будущее смотрела безбоязненно.

За все эти годы Европа привыкла жить припеваючи, не заботясь о хлебе насущном, вареники сами прыгали в рот, голова об еде не болела, оттого и сейчас цель была ясна — пристроиться к пирогу. Проще говоря, обеспечить себе золотые деньки в доме для престарелых. Это ей удалось. Потому как приложила она максимум стараний, пустила в ход все свое умение, проворство, опыт, нахрапистость и прочие сильнодействующие средства, например вполне осязаемые и очень даже вещественные ценности.

— Бондит! Бондит, шалава! — в приятном возбуждении выкрикивает Европа. — Средь бела дня!

— Господи, Европа Трифоновна!.. Что же вы так... нехорошо это... грех! — бормочет в смятении крохотная, высохшая старушка и мелко-мелко крестится. Она сидит на лавочке напротив Европы, вся черная и невесомая, как выпавший из очага уголек. Легче уголька. На ней черные школьные тапочки с тесемками, черные чулки, черный шерстяной сарафан, наглухо застегнутая на черные круглые пуговицы черная сатиновая блузка, маленькая головка повязана шелковым черным платком. Всю жизнь она трудилась, а вернее, надрывалась спозаранку и дотемна на скотном дворе, работала не разгибая спины на картофельном поле, ворошила сено, мочила лен, таскала ухватом из печи тяжеленные чугушки. Она и в пансионате встает раньше всех, прибирается, умывается, надевает свой монашеский наряд и смиренно ожидает завтрака. Поев, сядет где-нибудь в уголке, исхудалые высохшие руки сложены на коленях — ждет, пока явится за нею смерть. В мороз или в дождь прикорнет в комнате у окна, в ясную погоду — на скамеечке возле клумбы. Сидит, не шевелится. Но у костлявой есть дела поважнее, чем умыть божьих старушек, она охотнее косит молодых.

— Так, значит, Кузьминишна, грех, говоришь!.. По-твоему, ей наше добро бондить — это можно, это не грех. А если я правду-матку режу —

следственно, грех на душу беру? Скажи-ка, выискалась праведница, мудрено у ней выходит! . . — громко чертыхается Европа, нашаривая пухлою рукой в отвислом кармане линялой фланелевой пижамы сигареты и спички. Жадно затягивается и озирается вокруг, нет ли поблизости слушателей. Как не быть, и близости и поодаль, в тени кустов, расположились кружком старые бабы. Европа приосанивается, взбивает свои жидкие рыжие космы и тычет закатой между пальцами дымящейся сигаретой в дальний угол сада. — Ишь ты, начальница прет, руки отваливаются! Того гляди, пупок надорвет или какую холеру схватит . . . Ух, зараза!

— Вы же не знаете, что она несет, не знаете, Европа Трифоновна, а ругаетесь нехорошими словами, — сокрушается старушка. — Нельзя же так . . .

— Как же, как же, я — и не знаю! Ничегошеньки не знаю! О-хо-хо! . . Да я все как на ладони! И тебе скажу, тоже мне — секрет в бане! Верить, я про это спеть могу! Я тебе, мил человек, как по нотам доложу: белки она тянет, жиры, углеводы, витаминчики . . . кой-чего из бакалеи. Может, еще что . . . Ну, там, кондитерские изделия. Или пресервы, куры гриль . . . Провалиться мне на этом месте, коли вру! Ишь, ишь, сумку набила, едва волокет! Ух, зараза! . . — трещит Европа, захлебываясь от возмущения. Угомонившись, откидывается назад, выпускает изо рта громадный клуб дыма и, прищурившись, провожает взглядом тающее облачко.

Ладный денек, думает Европа, славное выдалось утречко. Тепло, мухи не пристают. Птички щебечут. Желудок хорошо вышел, даже с удовольствием. Видать, отыскала фельдшерика, гнида, нормальные капли в благодарность за импортную помаду. Естественно: ты — мне, я — тебе. Не подмажешь — не поедешь, факт. На завтрак умяла две порции, что твою клубничку, и ничего. Не жмет, не жжет. Ну да что это в сравнении со старшей сестрой — вот где номер! А задавака эта старшая сестра Алида, не то слово: «В колидоре не курить, на пол не плевать, по газонам не ходить! Почему есть грязно? Совсем нет порядка! Трам-тара-рам!» Золотко, туточки не кино, где разных актеров снимают и девок с голыми ляжками. Тут богадельня, и нечего на всякое дерьмо нос морщить. Понятно? Уж что-что, уважаемая Алида Ляй . . . Лей . . . черт их всех . . . Лимоновна! — а это Европа знает как свои пять — чего выносят полными сумками через садовую калитку. Поскольку всю свою творческую жизнь не смыкая очей отрывала на халяву. Даже дураку ясно — ворованное несет, ворованное, и, будь спок, в свой час Европа ткнет носом в дерьмо эту накрахмаленную козу, факты — упрямая вещь! А час настанет, люди добрые, ждать недолго осталось! Понятно, милочка?

Недавно Красный Крест раздобыл для нее сигареты, курева хватит на неделю. Грейся на солнышке, чеши языком и знай себе покуривай. Благодать. Глядишь, как другие пашут-боронуют, и чувствуешь себя княгиней или миллионершею. Мадам Европа. «В поте лица своего . . . » Давай, давай, наяривай! . .

— Нейдет . . . — бормочет Кузьминишна.

— Что? Кто? — рассеянно переспрашивает Европа.

— Эта . . .

— Кто — эта?

— Смертинушка.

— Что ты стрекочешь! Зачем беду кличешь!

— Кличь не кличь, сама явится, если надумает. Вот сегодня ночью надумала и пришла за Мирдзой Кристьяновной. А за мной не приходит . . . — печалится старушка.

Что верно, то верно, пришла. И, к примеру, забрала бедную Мирдзу.

А ведь крепкий бабеч, вечно улыбается, не хнычет, на болячки не жалуется. И провалиться мне на этом месте, если сплетни разводила или ссорилась с кем. По правде, невзрачная женщина, серая, значит, личность. Но какая бы ни была, маленько ее жаль. Честное слово, кроме шуток. Или в груди защемило насчет себя? Насчет того, что живешь, леший тебя в рот, живешь как впотьмах и в неведении, в извечном, значит, страхе, что скоро — бац! — и тебя точно клопа... Через годик? Завтра, послезавтра? Сегодня? Аморалочка. Была бы Европина воля, уж она мир-то устроить сумела б. При рождении, сразу, каждому — сто лет, и живи! А таким людям, как она, как Европа, у которых, к примеру, горячая кровь и страсть в организме, тем, кто любит и умеет пожить, тем, извините, попрошу подвинься — сто тридцать. Честное слово, совсем это и немного, грузины со своими овцами еще дольше живут. Нет-нет, она не собирается торговаться, нехай сто тридцать. Но тютелька в тютельку. С гарантией. Если начальнику небесной канцелярии завидно или, скажем, наверху все фонды порасхватали, а так бывает, вестимо, то sereneким и восьмидесяти достаточно. Потому как Мирдза — разве она понимала в жизни толк? С утра до вечера все вязала, крючком и на спицах, на спицах и крючком. Вот и весь горизонт. Никаких далее и меридианов. Навязала с ворох — а куда, кому? Псу под хвост. К вечеру все растащат, до последней ниточки. Известное дело. Нет чтобы Европе кофточку подарить или безрукавник. Да хоть пару носков, варежки там. Ни хрена. Серая, пустая, напрасная жизнь, годы по пустякам разменяла. С такой биографией и в могиле лежать скучно... Тут на Европу нападает изжога, и она рыгает, звонко и продолжительно. Тьфу, зараза, вторая порция и верно пованивала, что-то в ней было такое... Не покойницы ли завтрак она съела?

Мимо отдыхающей Европы старый Морис, кряхтя и шаркая, везет в инвалидной коляске дряхлого Турка к Белому деду. Если начистоту, этих двух еще прошлой весной смерть взяла за шиворот, дураку было ясно, что эти двое долго не протянут. Кому же не видно, что водка совсем подпортила Морису кровь, и в жилах у него течет черная жидкость вроде кофейной бурды с цикорием, оттого заеды, лишай на нем, кожа сходит и язвы на теле глубокие и вечно мокнущие. А Турку родимая все внутренности выжгла, утроба ни пищи ни воды не принимает, кусок в горло не лезет, обратно — пожалуйте. И хотя старик он тощий, светится, а все ж под собственным-то весом, пух-перо, кости из ягодич выпирают. Оба греховодника так над собой наизмывались, что медицина им больше не помощница, ни уколы в мягкое место, ни пансионатская пресная каша, а ждет их не дожидется адский котел или, скажем так, вертел, они и сами не прочь были поскорее туда отправиться, обрыдли им земные муки. А вот на тебе — Европа качает головой — старые пердуну опять на ногах и в силу вошли, Морис, глянь, толкает, а Турок, проезжая мимо, ей подмигивает, явлюсь, мол, как штык тебя полапать. Ну, сквернавец, бесстыжая рожа, одно слово турок — поганый язычник! Й-эх, гуси-лебеди, чего жеманиться — какой бабе не льстит, когда на нее мужик глядит. Хоть и мужик этот не первой свежести. Ух, зараза!

И что вы думаете, кто этих доходяг из могилы вытащил? Не живая вода, не врачи и не аптекари, не бабки, ворожеи, колдуньи, знахарки или, скажем так, святые чудотворцы. Нет. Белый дед вытащил. Потихоньку-полегоньку. Медком и разными всякими пчелиными субпродуктами да настойками из трав. Вот оно как. А теперь, я вас спрашиваю, кто из вас скажет, что после всего этого ты думать должен и делать, если, к примеру, захвораешь? Ведь живешь ты, мил-человек, и живешь, без крутежу, ровно кузнечик или другая божья тварь, букашка-таракашка, и вдруг

хрясь! Пластом. Крапивница у тебя, и болезнь крови у тебя, и пищеварительный тракт. Или чего похуже. К кому бежать, к кому стучаться, кого звать на помощь, кому в ножки кланяться? Кому взятку совать? Что?

А поскольку ты, мил-человек, гражданин и член профсоюза, несешься, обратно же, в поликлинику, постоишь-покумекаешь у табличек, сплошная загадка, становишься в очередь к своему окошечку. К своему, рази его гром! — медипедиларингоневроонкологору... Тьфу, зараза! И вот, к примеру, попадаешь. Здрасьте. Тут мои десять хвороб или одиннадцать, все при мне. А на лечение твоего родного тела и единственной души отпущено, скажем так, шесть минут. Что?

В пансионате дежурит фельдшерница, у ней времени вагон. Зато лекарства не допросишься и понимания тоже. Нету ни того, ни другого! На эту верхихостку надежды плохи, самый тупой больной ее умней. Что остается? Шелтуны да знахари? Сегодня образованный интеллигент или руководящий работник, малопьющий пролетарий и хлебороб тоже — они этим браконьерским докторам не очень-то доверяют, а ну как нарвешься на самозванца и жулика, скажем так, шарлатана. Настоящих лекарей раз-два и обчелся, а пройдох пруд пруди. Обманут, вокруг пальца обведут, как барана, который тарашится на новые ворота, и всучат такую дрянь, такое пойло, что тебя в дугу согнет, живьем в землю вгонит, да не за спасибо, и не успеешь Отче наш прочитать. Аморалочка.

Что, мил человек, про Бела деда интерес? А это пардон-мерси, у меня спроси. Неужто на ноги поднял, обоих? .. — Ну да, что правда, то правда. Но если с личной позиции больного человека посмотреть и рассудить, он кто — не профессор наук, не другой какой образованный медик-академик, а бывший колхозник, разорившийся пчеловод и, грешно врать, немножечко того... Да. И потому солидному страдальцу он доверия не внушает и положиться на него не хочется. Говорят, лет пятнадцать назад в ближнем колхозе правление ликвиднуло колхозную пасеку, громадную, и дедов домишко заодно снесли. Чтобы землю распахать, скажем так, несколько гектаров и гусеничному трактору дорогу спрямить. Мало ли. Старого как крапивой ожгло, с того дня и зачудил, отказался от квартиры со всеми удобствами, ему предлагали, и примчался сюда, в богадельню. Со всей подвижностью, шесть пчелиных семей, больше ничего у него за душой и не было. Конторские дикий шум подняли, начальство на дыбы — никаких ульев, никаких пчел и все! Покусают, исколют, изжалят стариканов, кто ответит? Ни за что! — но пчеловод своего добился. Садовником его взяли, он улы поставил и через пару лет такой фруктовый сад развел, цветет и пахнет. Сам ездил за деревцами, сам кошель открывал. Чтоб его нелегкая! Кому пожалуешься, если у человека мозги набекрень? Мед, ягоды и фрукты — все на пансионатский стол, горы, горы... Самому под девяносто, и нет ему покоя, иголки в заднице, а прозвали так потому, что седой весь и в белом полотняном костюме целый день по двору шастает. И что вы думаете, в эту весну взял и разбил в дальнем конце, обратно же, сад — болван! Тьфу, зараза, видать, бог умом обделил. Один только Густ-дурачок и помогал старому в этом деле — ямы рыть и деревья сажать.

Солнышко разбрызгивает по небу серебро и золото, так что в глазах рябит. Все, кто не прикован к постели, кто хотя бы чуточку способен волочить ноги и как-то ползти вперед, высыпали в сад покомарить. Устроились в тенечке по двое, по трое, а то и кружком. Общение четко определено местными законами, очень разные причины и обстоятельства сводят

вместе этих людей. И бывшие должности, и уплывшее имущество, и чины умерших мужей, и собственный ум или глупость, нравственность или распутство, величина карманных денег и недуги, равные страданиями недуги. Ну и, конечно, любовь! Потому что и опираясь на палку можно ковылять навстречу любви.

Вон худой ветхий старичок, чем только душа держится, лихо разлегся в травушке-муравушке, подставляя солнцу голую спину, вон старуха, задрав юбку, греет под ласковыми лучами синюшные свои лытки. А та, опасаясь солнца, накрутила на голову полотенчику и, сидя в тени, держит над собой зонт. Старички нежатся, болтают, зевая шуршат газетами, дремлют. И все это покойно, с достоинством, неспеша, словом, как и положено обитателям пансионата.

Между тем на лавочку к Кузьминишне подсаживаются две дамочки. Эту Европа на дух не выносит. Мадам Закис и мадам Лакис. Неразлучные подружки не разлей вода. Хором встают, хором ложатся, вместе обедают и по нужде вместе ходят. Как Римский и Корсаков. Целый божий день вдвоем: и лю-лю-лю и ля-ля-ля. Ну скажите, о чем две женщины не первой молодости могут без конца балакать? И только промеж себя, с другими нет. Других будто и не существует, будто они вдвоем только и живут на белом свете. А подхалимки, не то слово. Нынче вот с утра забрались на клумбу и два часа там возились — полоти, прям носом тыркались ровно куры, пример показывали. А сестре-хозяйке, Расме этой, того только и надо: дэвочки, не хотите работать немножко? — А-й не хотим. Не наше это дело, понимаешь ты. Мы свое звон когда отпали и теперь находимся на заслуженном отдыхе, мозолями, потом и кровью заработанном. Законно. По Конституции. А в черноземе пускай ковыряются те, кому за это платят. Мы, к примеру, нынче курнуть желаем.

Та, что гуще красится, — художница. Так, ничего особенного, цветочки малюет. И травушку. Ясное дело, лошадь ей слабо нарисовать. Заберется в лопухи и мазюкает зеленым. И пока мадама Закис изображает, мадама Лакис сидит рядышком и разными голосами книжку ей вслух читает. Театр, не говорите, и, скажем так, вечер смеха. Й-эх, девчоночка, красоточка, шалунья, эх, ромашки-лютики, где теперь твой студент Жора? Чебоксарский щеголь-ухажер, страстный любовник Жорж Ананьевич? Вот был художник так художник! Чего ни попросишь, вмиг нарисует, а красивше всех царскую дочь на сером волке. Оба как живые. На ковриках, аршин на полтора. Разложит на полу в ряд чистые тряпицы, скунет кисть, к примеру, в голубое и все-все голубые места враз тебе раскрасит. Потом на алые перейдет. Красотища. Не успеешь воды натаскать и баньку истопить, если, к примеру, день субботний, а у Жорика поддюжины царских дочерей на шестерых волках по дощатому полу скачут. Остается лес пришпандорить — и живые деньги. В чайной как горячие пирожки расхватывают.

— Плики пупи... плики пупи... — слышен странный мужской голос с хрипом и клекотом. Европа украдкой бросает взгляд на свою молочную ферму, но, кажется, все в порядке, ничего не выглядывает из-под лифчика, не срамит культурную женщину. Когда лопочут по-латышски, она понимает («голые сиськи... голые сиськи»), но виду не подает. Лучше прикинуться некумекалкой, так оно выгодней.

— Уходи, обормот! — хором вскрикивают мадамы и машут руками. — Нечего тут дурачиться! По работе соскучился!

— Ух, зараза! — вздыхает Европа, как бы дамочкам поддакивая. Надо же слово вставить.

Тут из-за куста сирени выныривает вымокший до нитки полуголый

мужчина, в одних плавках. Август. Густ-дурачок. Августик. Густик. Останавливается на дорожке как вкопанный, повернувшись боком к сидящим. Кажется, хочет что-то сказать.

— Тхаа . . . тхады лели! . . . Смуки, смуки . . . — вырывается восторженный клекот.

— Где? — не выдерживает Закис.— Большие и красивые?

— Тху-у! . . . — голыш неопределенно машет руками во все стороны.— Тхуур!

— Где — там? — теряет терпение Лакис.

— Тхуур . . . зхаа . . . заркаа! . . . — Густик вымучивает слова и со счастливой улыбкой удаляется прочь, оставляя на асфальте черные влажные следы.

— В гробу? Нет, нет . . . не может быть . . . — художницу одолевают сомнения.

— Конечно, не может! Врет, поганец! — соглашается с нею товарка.— Там же Мирдзочка лежит!

И впрямь чудеса! — удивляется Европа, не соображая, что к чему. Ясно-понятно, в каплице лежит Мирдза, скажем так, покойница. Обмытая, одетая, прибранная в последний путь. В этом сомнений нет, это она видала своими глазами, такие вещи мимо нее не проходят. Не каждый день в пансионате мрут, даже не всякую неделю, особенно летом. Весной, осенью, тогда да, тогда, к примеру, почаше. Но Европа знает и то, что Густ не врет. Густ выкладывает чистую правду, слишком глуп, чтобы лгать и обманывать. И если уж он доложил, так оно и есть! Тыща процентов! Эти мадамы ничего не скажут. Придется встать и сходить в разведку, позыркать, поспрашивать, послушать, что люди говорят. Европа пускает носом колечко дыма, последнее, переваливается поближе к мусорной урне и царственным жестом швыряет в нее окурок. Порядок должен быть, пансионат не магазин и не, скажем так, вокзал, скандал ей ни к чему, была охота воду мутить, нет, от Расмочки со всей ее командой надо держаться подальше. Легче с ротой фараонов управиться, чем . . .

— Иоганна! — громко шепчет Закис, украдкой дергая за рукав Лакис.— Иоганна, взгляни! Это случаем не твое полотенце?

Ой, мамочки, мамуленки, дело дрянь. Дернул тебя черт, Европа, егозить по скамейке, сидела бы тихо, пока эти курочки не уберутся.

— Нет, нет, свое я перед завтраком постирала и повесила сушиться,— отвечает Лакис.

— Можб, обойдется без шума? . . . — просыпается слабая надежда, и Европа снова усаживается на полотенце. — Силы небесные, помогите! Ну в последний раз, в самый последний! — Но небесное воинство оглохло, бахрома как назло выглядывает из-под ягодич.

— Иоганна, взгляни! Это твое индийское полотенце, я узнаю его по цветам! — упрямо кудахчет Закис. Она встает с места и подходит к Европе. — Как этот здесь очутился?

— А? . . .

— Где вы этот брал? — сурово осведомляется Закис, ухватившись за кончик полотенца.

— Я . . . я не понимаю . . .

— Ах, она нэспрот! Замечательно, прекрасно — воровать прот, а отвечать нэпрот! Отдай! Отдай! Отдай, кому сказать! — настаивает мадам Закис и тянет полотенце изо всех своих невеликих сил. — Иоганна! Иоганна, поди-ка сюда, помоги мне! — зовет она по-латышски.

— Просим прощения . . . — говорит по-латышски же мадам Лакис,

которая наконец соизволила встать и вмешаться в спор,— скажите, пожалуйста, это действительно ваше личное полотенце? Если это ваше, то я... просим прощения...

— Да твое это, Иоганна! Твое! — дергая за край полотенца, упрямится Закис.

— Ты сапруот?.. Я нэсапруот!.. Сапруот? — выпучив глаза, тараторит Европа и потихоньку переваливается в обратную сторону. Нехай мадамы забирают свою тряпку и идут себе на... А то устроили кутерьму. Надо очень... Рвань, не полотенце, даром что индейское.

— Как такому жулику позволяют жить в пансионате? Таких в тюрьму сажать надо! За решетку! — сердится Закис, возбужденно размахивая добычею.

— Да, да... я не понимаю...

— Жулик как по-латышски, так и по-русски одинаково. «Жулик» — тоже нэсапрот? — возмущается Закис.

— Это здесь ест ньехороший... — покраснев от натуги, высказывает свою точку зрения Лакис.

— Да, да... — добродушно соглашается Европа.

— Иоганна, знаешь, что я тебе скажу? — спрашивает Закис, складывая вчетверо и приглаживая ладонью полотенце.

— Что, я слушаю...

— Я тебе скажу, что эта бочка присвоила и мою губную помаду!

— Как ты можешь так говорить, Эйжения! — стыдит подругу Иоганна. — Разве ты это видела?

— Нет, не видела. И что с того? Зато я припоминаю, что вчера утром оставила свою новую помаду на этой самой скамейке. Кто же еще мог ее взять? Только она! — приходит к умозаключению мадам Закис, подкрепляя свои слова вполне определенным жестом.

— Да, да... — сделав простодушное лицо, воркует Европа. — Да, да...

— Товарищ... извините, гражданинка!.. Я должна был вам сказать, за то что вы поступаете очень нэсмук... да! не ест красиво! Вы... вы ест ньехороший человек!... — густо багровея, заявляет мадам Лакис.

— Фу, просто противно... Пойдем, Иоганна, нам тут делать нечего! — беря подругу под локоть, замечает мадам Закис. И они оставляют греховодницу в гордом одиночестве, наедине со своей совестью.

Вослед вражинам Европа складывает из коротких толстых пальцев четкую фигу. Вот тебе твоя помада, вот. Накось выкуси! Было-сплыло. Подумаешь, дерьмовое полотенчишко пожалели. Откуда, леший тебя дери, берутся у нас такие рвачи и жмоты, откуда? Ух, зараза, этих двух мадамочек она, Европа, терпеть не может. Потому что она, Европа, скажем так, всей душой за справедливость. За братство, скажем так, и равенство. А какое тут, извиняйте, братство, если мадамы эти живут в комнате вдвоем, а Европе приходится делить угол с пятью старухами? Ежели мадамы в своей комнате уютно зырят в цветной телевизор, а Европа, к примеру, должна сидеть в коридоре на твердом казенном стуле среди полудохлых старушек и глазеть на черно-белую картинку? Где тут справедливость, где классовый подход? Что? Ах, они купили этот ящик на свои кровные? Минуточку, тогда вопрос — откуда деньги взяли, две старухи-то? И так, скажем, электричество жгут разве не за ее счет?

А воскресным утром обе госпожи вырядятся и попрут в Ригу. Размалюются, расфуфырятся, напялят шляпки с перьями. Скажите на милость, туточки цирк у нас или выставка попугаев, вас спрашивают! Тут разве место показывать фигуру и, натурально, всякие там душевные амбиции? Эх, гуси-лебеди, тут последнее наше пристанище, скажем так, рай-

ской избы сени, и ты, мил-человек, должен ходить босиком в рубище, на принципах равенства, и говеть и бить поклоны и по-всякому о душе обзаботиться . . . Ух, зараза!

— Нейдет . . . — вздыхает чернавая старушка.— Пойду гляну, скоро ли обед . . . Сосет под ложечкой.

— А как же, Кузьминишна, святое дело! — ободряет Европа Трифоновна.— Закуси, скрась ожидание-то. Как знать, можд к вечеру явится . . . Или ночью?

— Еще чего! Зачем же ночью? Нет, нет, ночью не годится, ночью я сплю.

— Всяко бывает.

— С другими бывает. А мне надо, чтобы днем пришла, чтобы одета я была как положено. Чтобы все чинно было и пристойно.

— Кто может знать, чему бывать, того не миновать.

— А я знаю. Все будет честь по чести, иначе никак нельзя. Меня ей не застать голой . . . Как говорится, в неодетом положении.

— Там видно будет! . . — отмахивается Европа.— Одно из двух — или Ванька дурит, или банька горит . . .

— Вы опять за свое, Европа Трифоновна: видно будет да видно будет! Зачем же я тут объясняю вам, в чем дело-то? Только днем! И на том стою!

Старушка суетливо крестится и семенит прочь легкими шажками. Европа окидывает взглядом сад и видит, что гуляющих как ветром сдуло. Значит, обеденное время пришло. Она все же решает выждать и пойти к столу, когда другие кончат трапезу и не будет лишних глаз. Ввиду того, что самая главная повариха ее подруга. Сегодня, ясно-понятно, святой долг подруженьки отломить ей кусок пожирнее, наградить чем-нибудь вкусеньким, поскольку у поварихи нашей ситуация. Фактически-то ситуация у ее дочери, единственной ненаглядной Анжелочки, которую, скажем так, надо срочно выдавать замуж. С одной стороны, у девки экзамены в разгаре, выпускной вечер на носу, а с другой стороны, поспешать надо с замужеством. Или же, с третьей стороны, к примеру, не опоздать бы к доктору. Ну а будет ли парень, который девку испортил, ей женихом и настоящим мужем, это на все сто от Европы зависит. Европа после обеда карты раскинет и все точно молвит, какая, значит, судьба даме сердца уготована. Уж ради собственного-то ребенка повариха, надо думать, не поспежится. Эх, светик-цветик, горе луковое, и чему вас только в школе учат?

Из-за сиреневого куста доносятся голоса. Европа усаживается бочком и открывает рот, чтобы лучше слышать.

— Ну как теперь, гудит машина? — спрашивает мужской голос.

— Еще как гудит, всасывает все что ни попадется, даже металлический рубль проглотил, как акула. Спасибо вам за хорошую работу! — отвечает женский.

— Заодно я приладил к этой бандуре ручку.

— Верно, так оно сподручнее. Прежняя треснула при первом же прикосновении, за что только с нас деньги берут.

— Эта намертво.

— Надеюсь. Я ваша должница. Сколько с меня?

— Сестра, вы меня обижаете!

— Ни в коем случае. Еще раз большое спасибо.

— Если у вас в доме еще что-нибудь сломалось, несите, не стесняйтесь.

— Спасибо, я так и сделаю!

— Разумеется.

— И тут вы узнаете, почему фунт лиха! — прыснув в ладонь, восклицает женщина и убегает прочь.

Европа вынимает измятый носовой платок и смущенно трет переносицу. Ой, мамочки, мамуленьки, долго ли было до беды! Никакой это не левый провиант, старшая сестра Алида намедни свою вещь в сумке несла. Свой дерьмовый пылесос. Спасибо вам, ангелы небесные, удержали меня от греха, не дали пасть раскрыть. Ух, зараза!

Мужик за кустом — Белый Крест. Что он там копошится, чего не уходит или ждет кого, а можб покурить собрался? Или сквозь кусты Европу приметил, покалякать с ней хочет? Европа с молодости на мужиков zenки пялила, и хоть отцвели ее женские прелести, а тело заплыло жиром, страсть эта все никак не отвяжется. Эх, гуси-лебеди, где мои тридцать лет, удаль молодецкая, бабеч в самом соку, гуляй — не оглядывайся, славное времечко короткий промежуток, когда гибкое тело исходит истоמוю и в крови сладкое щекотание от кончиков пальцев до корней волос. Пролетели, миновали годы, канули любовники как прошлогодний снег, растаяли как дым, и не на что тебе, мил-человек, надеяться. С пламенным приветом — и не помогут ни сопли, ни слезы, и на всем белом свете нет никого, кто бы тебя пожалел. Тьфу, зараза. И все ж-таки, и все же! . Скажем так, дородный смачный бабеч до последнего вздоха будет желать, чтобы ущипнули за мягкое место, хотя бы ради фантазии и порядка, а если не суждено, так пусть уж мужчина последний взгляд на тебя бросит, ласковым словом приветит. Пока видят глаза, слышат уши и бьется сердце.

Белый Крест, незачем отпираться, в ее глазах над многими перевес имеет. И пусть он весь седой как лунь, зато в свои годы все еще строен и, точно бравый гусар, всегда чисто выбрит. К тому же вежливый, порядочный, расторопный и, скажем так, за словом в карман не лезет. Вчера они даже посидели с ним на скамеечке, покурили, пошутили. Официально и культурно, как представители обществности. И он ей, к примеру, на правах кавалера отвесил полновесный латышский комплимент, она не запаматовала: «Стоячие титьки, красный сосок, а тесто в квашне не всходит». Черт, что за квашня? Какой-то фокус в этом есть. Это ей понятно, но это именно — не разгадать, разумения не хватает. Дура ты, Европа, за эти годы могла ихний язык вдоль и поперек выучить! У кого теперь спросишь? Закис-Лакис с ней не разговаривают, к старшей сестре Алиде тоже не станешь навязываться с вопросами личного свойства в интимном свете. Что в той квашне какой-то намек, это ясно. Ну, зараза, дожили, спросить не у кого! Можб, у Красного Креста? Но как, мил-человек, внутренние мысли одной серьезной личности и, скажем так, страдания души доверишь в существо другому? Не выйдет, не доверишь, особенно потому, что между ними родственные отношения, поскольку братья они родные, латыши, фамилия им Круст, по-русски и значит Крест, а различают их по волосам на башке — у одного рыжие, у другого седые. Красный — хвастун, пронира и алкаш, к тому большенное трепло, еще начнет над Европоу куражиться и по углам сплетничать, с него станет. И молва про него нехорошая идет. Будто он много лет назад закинул родного братца к белым медведям. Эх, гуси-лебеди, мимо нашего дома с песнями. Жгучее было времечко: три строчки без подписи чирк — и упекли человека. Ни за что ни про что. Болтают, правда, из-за невесты. Как ни крути — аморалочка. А вишь теперь один черт в тот же порт: оба где были, там и есть, хоть смейся хоть плачь, конец плаванию, и дорожка одна, последняя, короткая, в общую гавань.

— А вот и я, доченька, — слышен старушечий голос. — Опять приплыла туда, где была.

Старушка аккуратно расправляет складки на черной юбке, усаживается на прежнее место, ту же стягивает концы черного платка и умещает на коленях жилистые высохшие руки. На коленях они, бездельницы, на хлеб не зарабатывают, стыдоба одна, да куда их спрячешь.

— Вижу, вижу . . . — ворчит Европа. Потревожила ее старуха, мысли разогнала.— Ну, наелась от пуза?

— Наелась, Европа Трифоновна, известное дело, наелась, спасибо господину нашему! — бодро отзывается старушка и суетливо крестится.

— Чем же нынче кормят, что на обед давали?

— Угостили чем бог послал. Щи на первое, котлеты с гречневой кашей на второе, компот на третье,— жужжит старушка, загибая пальцы.— Все путем, грех жаловаться, Трифоновна.

— Так ты значит, говоришь, Кузьминишна! Они нас посередине лета, в самую жару кормят тухлой капустой, а ты толкуешь, что все путем! Это же сколько времени, как мы картошку по великим праздникам едим, каждый день трескаем гречку и хлебаем щи, а ты, мил-человек, заявляешь: грех жаловаться! При виде этой аморалочки нам всем, к примеру, надо орать, скажем так, в полный голос и революцию делать, а ты, Кузьминишна, несознательный элемент, мозги мне вкручиваешь — грех, мол, жаловаться. Ну зараза! — режет невзирая на лица разгневанная Европа.— Ух, зараза!

— Грех, как же не грех. Тут голодных нету, а кое-кто, бывает, так желудок набьет — в ночь по три-четыре раза в чуланчик бегаёт,— не отступает старушка.— На что же роптать?

— Бегают, Кузьминишна, бегают. И еще как бегают! А почему бегают? . . . Откуда у них позывы эти? Говоришь, от переполнения организма пищей . . . — Европа на миг умолкает с тайным умыслом. Чтобы затаиться дымком поглубже — раз, и чтобы собеседница прониклась и дурость свою осознала — два. Выпустив носом дым, она продолжает: — Ничего подобного, мил-человек, иди ты в болото со всем своим, скажем так, медицинским прогнозом, поскольку в животе бурлит от дрянного продукта. От антисанитарной капусты.

— Вот и я говорю — продукт. А продукт никогда не выбрасывают, грешно это! — торжественно заявляет старушка.— Какой-никакой, а продукт, и его положено съесть! Хочешь не хочешь.

— Тьфу, зараза, я тебе про Фому, а ты мне про Ерему! Кидаемся друг на друга, как кошка с собакой! — Европа безнадежно машет рукой.— Как хочешь, мил-человек, жри свою вонючку, уписывай свою, скажем так, паршивую капусту и жди.

— Известное дело, Европа Трифоновна, сытому и ожидание не в тягосты,— откликается старушка.

— А что если она перепутает? И прискачет ночью? — поддразнивает упрямую старуху Европа.

— Что вы, Европа Трифоновна, опять за старое! — досадует старушка.— Придет только днем, я наверное знаю!

— Да-да, ладно, ладно, пусть будет так, конечно, конечно! — чтобы не ссориться, соглашается Европа.— А если тебя саму прихватит, что тогда?

— Что прихватит, Европа Трифоновна?

— Капустная хвороба, скажем так, понос! — рассуждает Европа.— К примеру, является она к тебе среди бела дня, честь по чести, солнышко светит ласково, птички поют, а ты, мил-человек, сидишь на троне, тужишься и ни с места, встать не можешь!

— Боже сохрани, Европа Трифоновна, зачем вы так! . . . Такие слова говорите! . . . — Растревожили старушку еретические речи, взволнована она

возможной неприятностью, вся дрожит. — Боже сохрани! . . . Боже сохрани! . . . А если и вправду! . . .

Старушечьи причитания Европе неинтересны, поэтому она собралась уходить. Да и в животе оркестр играет и, скажем так, исполняет разные увертюры. Потому что, право слово, самое время перекусить. Конечно, не гречневой кашей и, разумеется, не капустой. А чем-то таким . . . к примеру, культурным. Филе говядины с черносливом! Ромштекс с грибами? Или лангет с картофельными ломтиками, зажаренными в масле. Как их там — фра, фри, фру? Чуть собачья, псу под хвост эти «фру»! Чугонок бы сюда с картохой в мундире, как в девичестве на берегу родной Ветлуги. Схватишь горячую картофелину, подкинешь в ладонях, очистишь от шелухи, подуешь, чтобы остыла . . . Эх, дымится, желтая, мучнистая, рассыпчатая — так и просится в рот! Обмакнешь в соль, закусишь лучком, чесночком или соленым огурчиком, на худой конец нарвешь с грядки зеленого лука, отхлебнешь пахты — во рту и сладко, и вяжет, на душе радость и брюхо довольно. Потом отведаешь пирожка сладкого, со свеклою, запивая душистым чаем, настоянным на свежем черносмородинном листе и молочком подсиненным . . . Ох, мамочки, мамуленьки!

Европа с трудом отрывается от скамьи, ловким броском отправляет «кончик» в мусорную урну, утирает пот со лба и вперевалку ковыляет к столовой. Поглядим-посмотрим, что нам выставит шеф-повар, главная кухарка. Всему свету известно — в кладовочке за кухней, коли поскрести по сусекам, поширить на полках, облазить холодильнички, й-иных какого только добра не найдешь! А это ихнее, то бишь пансионатское, законное добро, за государственные денежки куплено для общего стола. Ишь, упрятали под замок. Как говорится, для спецконтингента. Эх, гуси-лебеди, кто-кто, а уж Европа-то Трифионовна досконально знает, как с таким продуктом обращаться, хватай кто может, бери что плохо лежит. Ломтик хлеба и маслица вагончик, человеку много не надобно. А со стороны на это дело взглянуть, как бы глазами общественности и почесать в затылке, выходит с того ломтя один левак и аморалочка. Или, к примеру, уголовное дельце. Ух, зараза, и вправду какой день разворошить бы этот муравейник, руки чешутся накатать телегу. В газету. Или скажем так, в вышестоящие инстанции. Ради социальной справедливости и во имя равенства. Да . . . ну поглядим-посмотрим, что нам нынче-то повариха главная предложит . . .

Возле клумбы белых роз пасется дурной Август. Что-то лопочет, топочет, вихляет задом, трясется что твой шаман, только без бубна, и время от времени плавно так взмахивает руками. Ну словно мельница крыльями при налетевшем ветре. Жестами себе помогает — на помощь языку руки. Волнуется когда, вообще слова не вымоляет, руками и разговаривает.

Густ росточку малого, зато коренастый, плечистый и угловатый, как наскоро обтесанный чурбачок — тяп-ляп там сям — и затесали. Щеки у него стылые, как если человеку сто . . . стомалоло . . . — тьфу, зараза! — зубодер укол в десну вгонит. Ты, мил-человек, сколько ни гляди на Густову рожу, зыркай не зыркай, а не определишь ему возраст ни в какую, раз посмотришь — малец мальцом, другой — старик стариканыч, каша! а все вместе странное выражение и мерзкая харя. Ах, да добёр-бобёр, жалостливый и всегда готов помочь, а поскольку умишком бог его обделил, работает за десятерых. Каким ветром его в богадельню пригнало и когда, никто не знает, не помнит, а спроси самого — ни мычит ни телится. В качестве дурачка его взяли, угол выделили, с тех пор и обживает с Белым дедом чуланчик. И оба они опора хозяйства и, скажем так, движимый инвентарь. Едва рассветет, Густ вскакивает со своей ле-

жанки и по-медвежьи, в одних плавках, топают на озеро. Бултыхается серьезно, долго и важнецки, словно нужное всему пансионату мероприятие проводит. В воде человек, известно, худеет, от чего делается расторопней, такой расклад Густу очень даже по душе. Видать, по этой причине дурачок и в мокрядь и в самое ветрило лезет в воду, лишь бы лед сошел, купается до поздней осени и по утрам, и по вечерам, а в теплую погоду так еще чаще. И, к примеру, целый день как из воды вылезет, так и носится по двору голышом, босой, дурак он и есть дурак, хоть бы и прохладно и ветрено, — ты, мил-человек, кутаешься в теплый пла-ток, да не в один, а ему хоть бы хны. Хлопот у него полон рот. То тер-риторию подмести, то продуктовый привоз разгрузить поставят, цве-точки поливать, газон обкашивать, дадут садовые ножницы — пошел живую изгородь подравнивать, в другой день скидывает в погреб уголь на зиму, там, глядишь, подсобит узлы с грязным бельем таскать, клумбы вскапывает, забор красить — тоже он. А где еще фруктовый сад, ведь из Белого деда весь воздух вышел, хорошо еще, коли рядом стоит, совет подает.

Вычтет пансионат из Густова заработка расходную долю, с гулькин нос останется. Да сумасброду деньги ни к чему, он их и не сочтет, капи-талец в рост не пустит, какие у него потребности. Эх, гуси-лебеди, одна потребность и у свихнутого есть! Сильному мужику, ясное дело, хочется, к примеру, пощупать бабу, на него находит. А что мозгов не хватает, это, понятно, никакое не прелятельство. На случай флирта Густ приобрел чер-ный костюм, туфли с блеском, две белые сорочки и пестрый галстук и еще скопил несколько сотенных девке презентовать, скажем так, за усилия. Тьфу, зараза, обалдеть можно! — содрогается Европа Трифо-новна. — Такие деньги растратить, за что? Псу под хвост. На деле-то Густово ухажерство все еще вилами по воде писано, покамест одна иг-ра воображения. Рубельки лежат куда их положили, в старых лохмотьях припрятаны, до шкодства мужик за всю свою жизнь так и не добрался, а в парадный костюм выражается разве что на похоронах. Ах, мамочки, мамуленьки, а-й вправду жаль пентюха. Куда податься бедолаге, что делать? А Красный Крест, поганец, не унимается, все Густа подзуживает.

В молодости старпер падох был до девок, ну ровно Онегин, и хотя порох в нем давно весь вышел, на лбу у него все одно разврат написан. Чего скрывать, уж этот типаж Европа за версту чувствует. В чемодане у Красного всякие картинки есть — коллекция, скажем так, официаль-ная с полуголыми бабешками и, к примеру, в чем мать родила. Тут не-пременно требуется заметить, что в этой гадости-радости виноват не кто иной, как те две сисельки, Закис-Лакис, кругом повинны. Они эту пакость туточки насадили, распространили и множат, кроме них никто заграничные журналы не покупает и всякую зловредную прессу, чтобы потом братьев одаривать — Красного и Белого. В журнальчиках этих такая реклама, что . . . Причина — она в чем? В том она причина, что капиталист, положим, фабрикант не стесняется спекулировать на, скажем так, психике и физике рядового покупателя, на прочих его незаво-лительных чувствах. Надо бритву продать или мыло — сунет товарец голой девке с белоснежными зубами, она лыбится, а морально не-устойчивый потребитель как завидит ее — за кошель и сломя голову в лавку мчится. Самое настоящее надувательство и обман зрения, так как в магазине, ясное дело, ни одна продавщица нагишом стоять не бу-дет. А Красный выдирает голопупых из журнала и в коллекцию, и в коллекцию! Сам высох как скелет, одной ногой в могиле, а туда же, бес ему в ребро.

Эх, гуси-лебеди, да разве на белом свете была когда-нибудь недоста-

ча полоумных и дробнутых! Кто спички собирает, кто пуговицы надраенные с мундиров, другой лампы керосиновые, утюги старинные, а иной хрусталь. И буржуазные эти штучки имеют место в наших малогабаритных квартирах в то самое время, когда все прогрессивное человечество стоит на трудовой вахте или летает на необитаемые планеты, когда мы пересаживаем друг другу мозги и почки и соображаем, как очистить воздух и воду и вдрабадан загаженную атмосферу. И все это мы делаем сидючи в тряске на разных бомбах, адских, понимаешь ты, машинах, которые вот-вот дрызнут, и всех нас снесет к чертовой матери на веки вечные.

Ну, зараза, пускай себе собирает дрянные свои открытки, старый козел, пускай зырит на них сколько влезет, Европе что за дело! Но только какого лешего он раскладывает охальную свою продукцию перед Августом, нарочно смущает блаженненного. Глядит Густ на раздетых мамзелек, и его тусклые глаза синеют, становятся как фиалки, рожа вся в страшенной улыбке перекошена, а щеки и шея покрываются красными пятнышками, точь-в-точь рыжие муравьи покусили. В возбуждении он переминается с ноги на ногу, нехорошо так дергается, рычит и сипит, как лесной зверь. И ты, мил-человек, одного ждешь, сейчас как-ак метнется он прочь и с лету жахнется лбом об сосну или, положим, об угол дома башкой, шальной ведь, и откинёт копыта. А Красный знай ухмыляется, новую картинку достает и опять идиотика подначивает. Ух, зараза, за такое поведение Европа Трифоновна в сердцах как-то уже съездила Красному по уху и пригрозила донести начальству. Или, к примеру, сообщить куда надо, прокурору. Авось сатана присмиреет, оставит беднягу в покое. Но, видать, одного урока рыжему мало было, и сегодня он опять за свое, верно, подогрел Густа. Вот отчего тот стоит у круглой розовой клумбы и вертится как ненормальный.

— Груух . . . хдуу! . . . — гудит он, пытаюсь объяснить Европе что-то важное, и судорожно машет руками.

— Чево? — спрашивает Европа, становясь рядом с мужичком.

— Тхуу! . . . Тхуур! — Густ безумно счастлив, что сумел выдать из себя нужное слово, и, железной хваткой вцепившись в Европу, тащит ее за собой в кусты.

«Там», — машинально переводит Европа. Что значит — там? Ох, мамочки, мамуленьки, середь бела дня! Точно как красавчик Жора в Чебоксарах, на первом свидании. От таких воспоминаний у Европы радостно щемит сердце.

Ах-цы, швах-цы, этот парень не Жорж Ананьевич, да и той девки шустренькой след простыл. И, скажем так, вообще . . . Тьфу зараза, печаль одна и аморалочка.

Хватка у Густа цепкая, не вырвешься, волочит ее с медвежьей силою, хошь не хошь, а за ним шлендраешь. Слав-те господи, тихий час, в саду ни души, некому бесплатное кино смотреть. Вжик — через газон, крах — через кусты, болван болваном!

— Слихх . . . слихм! . . . — внезапно остановившись, старается что-то ей толковать Август. — Слимм!

Болен? Кто болен? О, гуси-лебеди, да тут уже одним бабцом место занято. Карлина Карловна, главбух шикарного ресторана. Ну, положим, бывшая главбух. Старушка сидит на скамейке в тени большого вяза и криво как-то сидит, к примеру. Можб, отдала богу душу и аминь?

— Слимм! — волнуется дурашка Густ.

— Голубушка . . . как же ты так . . . как же ты! — перепуганно бормочет Европа Трифоновна, бережно обнимая обмякшую старушку за плечи. — Карловна, голубушка! . . .

— Дахх! .. — лопочет Август и в сильном волнении бьет себя кулаками по бедрам.— Дахх! .. Даххтр!

Без тебя знаем, что доктора надо.

— Давит ... дышать трудно .. — шепчет Карлина Карловна.— Не беспокойтесь ... пройдет ... сейчас пройдет ...

— Пройдет, пройдет, обязательно пройдет! Еще как пройдет! .. — поспешно соглашается с нею Европа.— Только потерпи маленько, потерпи, голубушка! .. Я час за врачом! .. Я мигом!

— Даххтер! — квохчет дурак и лупит себя по бедрам.

Европа бежит не чувствуя под собою ног, словно молодая, и в одно мгновение оказывается в медпункте.

— Звони! — выпаливает она с порога.— Лариска, звони!

— Что случилось, чего орешь-то,— не слишком любезно отзывается Лариска, попросту говоря фельдшерица.

— Звони в скорую! Живи! — хватая ртом воздух, выдыхает Европа и плюхается на покрытую белой простыней кушетку. Она зажимает рот ладонью, чтобы сердце ненароком не выскочило из груди.

— Погодь, кончу оперировать,— отвечает Лариска и в подтверждение своих слов поднимает верху руки в тонких резиновых перчатках.

Чудеса в решете, кого же тут оперировать, если в комнате никого нет, резать, к примеру, некого, их тут вообще двое.

— Последняя! — заявляет фельдшерица. Одной рукой она держит рыбу, в другой поблескивает маленький скальпель.

— Силы небесные! .. — изумленно выдыхает Европа.— Селедка! .. Настоящая селедка!

— Она самая! — подтверждает Лариска, наклоняясь над раковиной.— С утра два часа за ней отстояла. Даже на работу опоздала.

Плюх — ампутированная голова селедки летит в кулек с потрохами. Ой, Лариска, заливаешь, на работу ты проспала, это верно, и не впервой, да не ври, что в очереди настоялась. В магазинах атлантической сельди тыщу лет не видывали, а эта вот, к примеру, от поварихи, из ее, скажем так, дефицитнейших запасов, это, мил-человек, яснее ясного, Европу на мякине не проведешь. Тем временем Лариска потрошит взрезанную рыбешку, оперирует, ловко удаляет большую кость, половинки разделанной селедки промывает в проточной воде и кладет в стеклянную посудину на стоящем рядом белом столике. Ух, зараза, полна банка до краев, килограмма три будет, если не все четыре. Вообще-то продукт нынче не тот что прежде, об чем речь, чего попусту воздух сотрясать. Раньше селедка с туфлю была, чистым серебром переливалась, жирок с нее капал, лоснилась вся, мякоть прямо во рту таяла, недаром красавицу морскую именовали королевской, и по заслугам, и даже царской. А ты погляди, мил-человек, ты погляди только, во что она, бедненькая, сейчас превратилась — величиной с корюшку, коту на один зуб. Эх, гуси-лебеди, горькие наши слезы и жалкий юмор. Нынешнюю селедочку, по морям по волнам гоняя, тралеры всякие вконец затралили, и она теперь совсем постная и плоская, как сиротинушка или, скажем так, художественная гимнасточка, которую выдрессировали колесо натошак крутить и шпагат выделывать. Ни жирка у ней для собственного обогрева, ни икры для размножения и продолжения рода. Аморалочка.

И-иых, к чему отпираться, сей миг у Европы слюнки текут даже на этих изможденных рыбешек глядя, а в разволнованном брюхе такие фокстроты звучат, что музыка за версту слышна, как на пикнике. Если не хочешь, чтобы тебя прихватило, надо не мешкая бежать к поварихе и брать ее, к примеру, за жабры.

— Европа Трифоновна, не побрезгуйте нашей селедочкой, угощайтесь, душенька,— усмехается Лариска, моя руки под краном.— Батон в хлебнице.

— Спасибо тебе, милая, спасибо за предложение, но я недавно отобедала . . . — кочевряжится Европа, как и положено гостье, и, упершись ладонями, пыжится встать с кушетки.— Пузо не трамвай, битком не набьешь,

— Нет так нет . . . — цедит Лариска.

Тьфу ты, не фельдшерница, а чистая зараза! Ну что ты скажешь, в нынешнее время даже образованные люди до того зачерствели, что личное поведение, законы гостеприимства, нормы социалистического общежития им до одного места. И эта краля тоже ведет себя, как черномазая в черной Африке, я у мамы дурочка. Никакого, пардон-мерси, культурного наследия.

— От угощения отказываться не принято, так меня учили . . . — пытая приподнимается с места Европа.— Закушу маленько . . . Чтобы хозяйюшка не сердилась и приличия ради.

Лариска не отвечает, но Европу это не смущает. Достав батон, она отрезает себе изрядный ломоть, накладывает сверху две половинки селедки и жадно надкусывает.

— Недурна, недурна . . . я смотрю, у тебя в кладовке лучок . . . Возьму-ка я луковку для комплекту. Лук — он, к примеру, ароматически улучшает вкус блюда,— философствует она, очищая луковицу от шелухи.— Очень даже улучшает, это понимать надо,— договаривает Европа с набитым ртом.

— Верно, Трифоновна, бери еще! И расскажи, чего ты тут разоралась в дверях-то, или опять кто скопытился? — спрашивает Лариска.

— Ох, силы небесные! Скопытилась, скопытилась, звони скорей в скорую! Бухгалтерше нашей плохо! — почуввав свою вину, разволновалась гостья.— Ох, мамочки, лишь бы богу душу не отдала, пока мы тут лясы точим!

— Клава? Клавдия Петровна с нашей конторы? — переспрашивает Лариска, снимая трубку.— А ты тут расселась и молчишь! Сколько раз я ей говорила: не торчи на солнце! С большим-то сердцем! А она все равно лезет! Ей, видишь, погреться хочется! Хоть сама все знает, в чем только душа держится. Фатальная личность, ей-богу!

— Нет, нет, не Клавдия, а наша Карлина Карловна! Ну, знаешь, та самая . . . бывшая . . . из ресторана! — объясняет Европа.

— Ах, та старуха! — Фельдшерница, махнув рукой, кладет трубку.— Нечего понапрасну скорую беспокоить, жить ей осталось всего-ничего . . . Эмфизема.

— Все одно, звони! Живо пускай ездят! — настаивает Европа.

— Дай покой, никуда я звонить не буду! — отрезает Лариска, подпиливая свои изящные кроваво-красные ногти.

— Как же так! Как это понимать: не буду? — Европа взбудоражена.— Человек там мучается, терпит, к примеру, телесные боли, а ты — ничего! . . . ты ногтями занимаешься. Получается, фельдшернице, медицине то есть, это все до лампочки!

— Как сказала, так и понимай — не буду звонить и точка! — Лариска начинает раздражаться.

— Черт возьми, Лара, а я говорю, ты позвонишь! Или я такой тарарам подниму, что у тебя в глазах потемнеет! Ты меня знаешь! — вскипая, Европа переходит к угрозам.— Звони!

— А ну пошла вон отсюда! Убирайся из медпункта, не то морду обдеру! Ишь выискалась, фатальная революционерка! Коллонтай! Вон от-

сюда! — Лариска завелась не на шутку.— Иди в лес и там ори сколько влезет, хоть до утра митингуй, неформалка чертова! А у меня под ногами не путайся — работать мешаешь!

— Лариса, милочка! . . . Европа поворачивает на все сто восемьдесят градусов, быть на ножах с фельдшерницей ей ни к чему.— Старый, больной человек, понимаешь . . .

— То-то и оно, что старый,— хмыкает Лариска, снова берясь за пилочку для ногтей.— В пансионате молодых нету.

Эх, гуси-лебеди, в пансионате молодых нет, это верно. Туточки все старперы, у каждого свой прострел, свои болячки. Кто стонет, кто воет, один хрипит, другой в обморок падает . . . Отпираться ни к чему, в сумме это беспокойный и капризный, скажем так, слой трудящихся и, чтобы им управлять, крепкие нужны нервы, властная рука и тонкая, понимаешь, дипломатия. Разве Европе непонятно, отчего Лариска дергается, чего боится? Вызовет скорую к одному, тут же вызывай к другому, старики все набегут, все. Третий, десятый, пятьдесят пятый, только протяни черту палец, всю руку откусит. И придется докторам со скорой на своем «рафике» туда-сюда, туда-сюда, из пансионата в больницу сновать и так без конца, по одному маршруту, вперед-назад, а такие поездки как пить дать привлекут внимание начальства. И неизбежно возникнут ненужные — совершенно — вопросы. Даже десять восточных мудрецов не ответят, понятно, на вопросы, которые может задать один начальник, а Лариске это сделать во сто раз труднее. Потому что у ней не мозги козыри, а весь тот, понимаете, комплект, который у бабка пониже лица. Оттого Лариска, как умеет, вопросов этих старается избегать, незачем ей скорую в пансионат вызывать. Незачем. И точка.

— Сама сбегай! Ларисонька, сбегай! Близо ведь, двести шагов! . . . — умоляет Европа.— Дай укол какой-нибудь, чтобы человек очухался!

— Я не могу ей помочь, у меня лекарств нету,— разводит руками Лариска.— Нету.

Похоже на правду, зараза. Медпункт, известно, не аптека, а сколько раз бывало — двадцать аптек оббегаешь и без толку. Раз у фельдшерницы нужного лекарства нет, то без вызова, как ни крути, не обойтись. Никак не обойтись. Поскольку у нас, мил-человек, каждый гражданин имеет право за бесплатно пользоваться медицинским обслуживанием и зимой и летом, хоть днем, хоть ночью. На то есть наши советские законы, все чинно-официально, ведь мы, слав-те господа, не в какой-то там капстране импортной живем, мы живем туточки, у себя дома.

— Ларисонька, миленькая, ты же видишь . . . Коли нет у тебя нужного лекарства, так позвони в скорую, а? Я тебя очень, очень прошу, ну позвони! — зудит Европа.— Я Карловне обещалась доктора привести, она ждет!

— Ладно, Трифонова, будь по-твоему. В порядке исключения и только из уважения к тебе, заруби себе на носу,— сдается Лариска.— Но до одиннадцати придется подождать, ясно?

— Не мне ждать, Карлине Карловне! Больному человеку! — поправляет фельдшерницу Европа Трифонова.

— Ладно, ладно, вам обеим! — соглашается та.— Поняла?

— Ага. Только, знаешь, Карловна до полуночи может не дотянуть. Она, к примеру, может и раньше помереть,— выкладывает свои опасения Европа,— ты же сама говорила . . .

— Все может быть. Перст судьбы. Фатальный исход. Судьбы своей человек не знает.

— В таком разе медлить нельзя! — не отступается Европа.— Позволила бы щас.

— Уймись, Трифонова. Сказала в одиннадцать — в одиннадцать и позвоню! — держит бастионы Лариска.

— Почему? Какого лешего ждать полуночи? — беспокоится Европа.

— Чтобы не травмировать психику старичков. Стариканы народ чувствительный, им от одного вида скорой плохо становится, — отвечает Лариска. — Ясно?

— Ясно, ясно . . . Ничего не ясно! Скажи, что ты будешь делать до полуночи? А? Стоять возле Карловны и насвистывать песенку? Или ногти полировать? . . . Да скажи ты, что делать-то будешь? — допытывается Европа.

— Лечить . . .

— Лечить! . . . у тебя ж лекарств нету, как же ты, милочка, лечить-то будешь?

— В пределах возможного . . . — отвечает фельдшерница.

— Силы небесные, в пределах возможного! . . . Кто ж эти пределы ставит, кто их отмеряет, скажи, а? — снова распаляется Европа Трифонова. — Ты тут, милочка, главная, и все от тебя зависит. По щучьему велению, по твоему хотению все крутится. Не захочешь, к примеру, не сделаешь. Хоть убей. Тараза ты, а не лекарка, тьфу, прости господи!

— Тут вам, Европа Трифонова, пансионат, а не больница, — холодно поясняет Лариска. — И вы все помещены сюда умирать, а не лечиться.

Европе возразить на это нечего. Таращится она на Лариску и пытается найти словцо покрепче. Да что тут скажешь, если башка не варит, мозги буксуют? Тьфу, за . . . до сих пор никто ей рта еще не затыкал. А вот нате пожалуйста вам.

— Дахх! . . . Даххтр! . . . — дверь с треском распаивается, и на пороге возникает Август. Он машет руками, верещит и суетится. — Кхарлит слим . . . слимм!

Одним прыжком Европа достигает телефона. Пускай теперь фельдшерница на нее тарашится!

— Пожалуйста, срочный вызов в пансионат! . . . Да, да, правильно! . . . Да, с сердцем плохо . . . и легкие! . . . Кто говорит? Администрация говорит . . . да! . . . Фельдшер? Ее здесь нет, она возле больной . . . Да, понимаю, большое спасибо!

Так, милочка, поцелуй меня в зад! Какое-то время Европа не выпускает трубки из рук, чтобы Лариска не смогла перезвонить, с нее станет. Береженого бог бережет. А фельдшерница от неожиданности пребывает в глубоком нокауте.

— Беги, детонька, беги! — ласково наставляет ее Европа, покидая медпункт. — Если скорая придет и тебя там не окажется, некрасиво получится, ох некрасиво!

— Ну погоди, сука, сволочь, стерва! — приходит в себя Лариска, белая от злости. — Я-те припомню, я-те . . .

Она хватается сумку с походной аптечкой, запирает на ключ амбулаторию и по асфальтированной дорожке стремглав устремляется в сад. Прямо сердцем радуется, глядя на эту бегунью-физкультурницу. Впереди нее вперевалочку поспешает дурачок Густ.

— Кхарлит слимм! . . . — клопочет он, всплескивая руками. — Тхуурр! . . .

Европа неспеша добирается до скамеечки в кустах сирени, откуда предстоящие события будут видны как на ладони. Ой, мамочки, мамуленьки, до чего же хорошо и, скажем так, прекрасно жить на белом свете! Солнышко светит, птички поют, кругом все зеленеет и благоухает . . . Э-хе-хе, у каждого возраста свои радости и мон плезир, как говорил Жорж Ананьевич! Устроившись поудобнее, она вгрызается зубами в бутерброд с селедкой.

Юркий «рафик» скорой помощи влетает во двор и резко тормозит. Август тут как тут — показывает доктору дорогу. В следующую минуту на территорию пансионата плавно вкатываются белые «Жигули». Две женщины вылезают из машины — и напрямик в столовую. Видать, к старшей сестре, чья комната на втором этаже хозкорпуса. Нет-нет, люди добрые, тут нельзя больше находиться, иначе опоздать можно! Европа засовывает в карман обгрызенную луковицу, проворно встает со скамейки и, жуя на ходу бутербродец, направляется в дальний конец сада, к одинокому домику с односкатной крышей. Полдома занимает небольшая столярная мастерская. При необходимости там шурует Красный Крест — своего столяра у пансионата нет, а в хозяйстве что починить и поделать всегда найдется. Красный этим ремеслом подрабатывает. Ну, к примеру, изготавливает гробы. Рядом с мастерской — склад, где хранятся пиломатериалы, готовые изделия, орудия труда и всякий хлам. Красный иногда скрывается тут от начальства, это если пригубит чарочку. Со стороны задворок собирались оборудовать сушилку для досок, но пока помещение пустует. Время от времени его приспособляют для особых нужд. Сейчас там лежит Мирдза.

Толкнув тяжеленные двустворчатые двери, Европа входит в комнату без окон; затхлый, застоялый воздух подслащен ароматом увядающих цветов. Посреди помещения на обшарпанном старинном столе с точеными ножками стоит гроб с покойницей. Европа двумя-тремя затяжками раскуривает сигарету, глубоко вдыхает дым, чтобы не мутило, и ловко зажигает огонь в двух трехсвечных подсвечниках. Кругом воцаряется таинственный и торжественный полумрак. Теперь все честь по чести, все как полагается. Вот только пол замусорен что в твоём нужнике. Э, да кто тут станет глядеть себе под ноги? Все же она решает разыскать метлу и совок.

К счастью, двери столярной не заперты, Европе шибает в нос терпкий запах лака, перебивающий характерный смолистый дух. У задней стены на верстаке раскрытый гроб, крышка стоит в углу. Дык разве это гроб, мил-человек, это же роскошная мебель, как из музея, настоящее искусство и бидельмайер, классика, которую людям за деньги показывают, на это произведение гляючи у Европы аж сердце зашло от зависти. Гроб из дубовых досок сколочен, а доски так плотно пригнаны, рисунок так умело подобран, что кажется из цельного куска дерева тулуп этот вытесан и выдолблен. Отшлифован-перешлифован, лаком покрыт не раз и не два, отполирован и чуть ли не языком вылизан, блестит, как самовар, все в нем отражается, словно в прозрачном роднике, любая рожа и физиономия за версту видна. Шесть львиных лап, на которые он опирается, до того всамделишные, будто у настоящего зверя скрадены, так и кажется, сейчас весь этот корабль самоходом пойдет, куда его поведут. Ах, мамочки, люксовая мебель, шикарная, для красавицы королевской дочери, принцессы, которая, о господи, слезы наворачиваются, спит вечным сном в розовых кружевах-оборках, как мильтёнерша Кристина Онассис по телевизору, или для фермаршала какого щеголя в золотом мундире с погонами, белый парик на голове, сабля на боку, ох, мамуленьки... А гроб Красному Кресту назначен. Потому что он изготовил его для своих личных нужд, два года каждую свободную минутку вокруг него вытанцовывал.

Тьфу, зараза! Решил греховодник, алкаш проклятый, святого Петра-старца провести, как простого пастушка, надеется на своем блестящем сундуке через райские врата в царство небесное въехать почем зря, Илья-пророк на огненной колеснице. Нет, ты посмотри, это ведь если там, наверху, такие дурацкие фокусы сходят с рук, то скоро весь рай

будет битком набит всякой швалью и прочим подозрительным элементом, а уж эта публика всю остальную жилплощадь порасхватает. И Европе Трифоновне придется в очередь и смиренно ждать у небесных врат это ж бог знает сколько, туда ведь с подношением не явиться, в первых, с собой не возьмешь, а во-вторых, брать не берут, поскольку в небесной канцелярии на всех должностях, скажем так, ангелы с крылышками. Да и к тому ожидание-то бесполезное, в раю ведь никто не помирает и жилплощадь не освобождается. Нет, такой пакости, такой мерзости, чтобы прохиндей на собственной карете и в рай, да в обход очереди, боженька не допустит! Разглядит обманщика и сквозь дубовые доски, разоблачит его нутро, вражескую сущность, подножку подставит — и сверзится старый хрыч в ад крошечный, а там Вельзевул его хватить и в чан со смолой, и на веки вечные!

Чего отпираться, очень хочется Европе залезть в домовину великолепную, прям' спина чешется улечься в ней и прочувствовать на себе роскошный интерьер. Но об этом и думать нечего, для могучих телес другие габариты надобны. Поборола Европа Трифоновна в себе это наваждение, с тяжелым сердцем отказалась от своего желания, спустилась с небес на землю, в склизкие, скажем так, трудовые будни и занялась мирскими делами. Окинув взглядом мастерскую, приметила в углу за гробовой доской черенок метлы. Чтобы добраться до нужного ей орудия труда, отодвинула от стены крышку гроба и . . . замерла. Потому как узрела голую бабу.

Чудеса в решете, мираж, фантазия, фото Моргана, как говорил Жорж Ананьевич! — пронеслось в голове у Европы, и она ущипнула себя за мягкое место. А бабец знай пялит на нее бесстыжие зенки. Сгинь! И не думает, сатана. Цветной фотоснимок, да что снимок — плакат, к внутренней стороне крышки приклеенный, а на нем девица до пупа — чернявая краля, груди налитые и в чем мать родила. Эх, гуси-лебеди, рыжий-то наш разбойник совсем из ума выжил, ты посмотри, захотелось ему в царство небесное вместе с подружкой своей въехать, ну словно на брачное ложе. Ясное дело, этим злыдень, язычник треклятый и еретик, только сам себе полешки в костер подкладывает, чтобы чертям его поджаривать веселее было. Как пить дать дьявол вмиг их обоих, еще тепленькими, в преисподнюю втолкнет, раз — и только дым столбом, серный смрад, гром и молния.

Тьфу, зараза! Европа смачно сплевывает, хватается веник и отправляется подметать покойницкую. У дверей она сталкивается с Августом, который пришел за лопатой.

— Карлит здрав! . . . — сообщает дурачок, на радостях изъясняясь по-русски. — Кхарлит ходил!

Перекинув через плечо лопату, Густ удаляется, весело бубня под какую-то собственное сочинения мелодию. Босиком, в одних трусиках, он уходит рыть Мирдзе могилу. До погоста рукой подать, мимо рощицы — и там.

Европа наскоро подмела пол — мусор на двор и за угол. Чистота, к примеру, сильно влияет на эмоции человеческих чувств, она поэтому основа и, скажем так, фундамент всей коммерции. Тут Европа Трифоновна снимает с гвоздя черную шелковую шаль с длинной бахромой, которую с утра не без умысла туда повесила, повязывает на голову и накидывает на плечи. Вальс, вальс, вальс! Отпираться незачем, в душе она актриса, и если не стоять ей сегодня при свете рампы, то виноват в этом слепой рок, он один. Правда, закатанные до колен штанины красной полосатой пижамы не слишком подходящая к случаю одежда, но зато

вся в черном верхняя часть туловища и, не в пример будь сказано, бюст выдают в ней грусть, печаль, огорчение и глубокий траур.

Нашарив в кармане обгрызенную луковичу, Европа разминает ее между пальцами, а затем втирает едкую кашичу в подглазничные мешки до тех пор, пока они не начинают гореть, а глаза — слезиться. Ухватив метлу, она выстраивается во фронт возле домика, ни дать ни взять дворничиха, в чьи обязанности входит следить здесь за чистотой и порядком. Ждать приходится недолго, приезжие — вот они. Молоденькие фифочки, близняшки, похожие одна на другую, как два воробушка, и сразу видно — внучки.

— Лабдиен . . . — смущенно здороваются они по-латышски, озираясь вокруг. Мертвец внушает юным существам чувство стыда и какой-то вины перед ним за свою молодость и жизнерадостность. Потому что смерть от них еще за тридевять земель, они еще полагают себя бессмертными.

— Там, там! — концом палки указывает Европа Трифонова нужную дверь. Мелкими робкими шажками крохотулечки-красотулечки пробираются к покойнице.

Европа затягивается сигаретой, со значением и не торопясь, чтоб не мешать Мирдзиним родственникам. Потом швыряет не глядя окурок, пусть его, сестра Расма, если и заметит, лишет на счет Красного Креста, а тому поганцу и не такое на орехи положено. Еще раз натерев подглазья луковым соком, поправив на плечах черную шаль и высморкавшись в невесть откуда взявшийся носовой платок, Европа смиренно входит в «каплицу». Встает у гроба, широко крестится и тяжело вздыхает.

— Как живая . . . обмытая . . . аккуратно прибранная . . . — тихо говорит она, и голос ее слегка дрожит. — А не далее как вчера вечером мы с ней, к примеру, задушевно так беседовали . . . Ох, беда, беда . . . На все воля господня и, скажем так, перст божий . . . Каждому из нас свой срок отмерен . . .

Молодые женщины делают вид, что не слышат или не понимают ее причитаний, поэтому она с шумом облегчает нос, кончиком носового платка утирает глаза, поправляет шаль и продолжает держать речь.

— Ничего не попишешь . . . Вот и я, к примеру, очутилась туточки одна-одинешенька, скажем так, на произвол судьбы брошенная! — гулкий вздох. — Потому что понимаешь ты, Мирдза Кристьяновна была моей развединственной подруженькой . . . Душевный человек, ох горе лютое! . . . Мы с ней всюду вместе, везде и всюду и всегда, ох Мирдза Кристьяновна, как же ты так . . . всегда и всюду! . . .

— Да . . . — выдавливает из себя внучка, та, что потемнее мастью.

— Как же, как же . . . везде и всегда! — печально твердит Европа. — Потому я здесь с самого утра и верчусь, а на душе камень . . . Свет жгу и вообще . . . а на душе камень. Чтоб все было честь по чести, все как у людей.

— Да . . . — соглашается другая внучка, та, что посветлей.

— Мне, понимаешь ты, хочется, чтобы и траур, и торжественно было, и по-христиански. Правильно? — Европа сморкается. — Свечи буду жечь до самых сумерек, у меня время есть . . . Свечей тоже запаса . . . С утра хватилась — нету, ты подумай! Как же подруженьку без свечей, нехристи мы какие, что ли! Не будет этого. И в магазин, ноги больные, но по такому случаю сбегала, все купила . . . Кабы вы знали, как нынешние-то свечи выгорают, оглянуться не успеешь, от нее один огорок! Кто поверит? Я вам скажу, производят нынче . . . ах-цы, мах-цы . . . ну чисто дерьмо! Прошу прощения! В прежнее время свеча была как свеча, на целую ночь хватало. А эти? Жух-жух, десять минут — и нету! Честное слово!

— Дай ей! . . . — первая говорит второй тихо, по-латышски. — И пусть убирается . . .

— Если желаете, я подле покойницы и переночевать могу . . . Приглядеть, если что, заодно чтоб свечи не потухли . . . Свечей у меня полный короб! — вежливо предлагает свои услуги Европа Трифонова. — Завтра днем могу . . . всегда пожалуйста . . . если желаете, конечно . . .

Внучка что побелей лихорадочно роется в сумочке. Отыскала пятерку, замаялась, вытащила вторую, ну да в таких случаях живые родственники кошель-то пошире раскрывают, шире, чем в обычные-то дни. Спешат, гуси, спешат, лебеди, вину свою перед покойницей бумажками мятыми загладить, за все обиды прощения у ней выпросить!

— Ми благодарни за ваш старания . . . хлопот, — вручая Европе деньги, говорит та, что светлой масти.

— Батюшчи-светы, какие уж тут старания, сущая ерунда! . . . Я это, понимаешь ты, от всей души . . . гуманный человеческий инстинкт . . . тыфу, зараза! . . . Это не вам, извините, поперхнулась . . . Как говорится, человек человеку! — Европа опускает пятерки в карман. — Да, ясное дело . . . Вечером приду, как же, как же, приглядеть не мешает . . . Теперь ночи короткие, и не заметишь, как рассветет.

— Нет, нет, спасибо, ночи приходиться не надо! — встревает внучка потемнее. — Пусть бабушка будет отдыхать!

— Конечно, конечно, пусть отдохнет покойница, ясное дело, — не возражает Европа. — Так я утречком загляну! Буду жець свечи целый день, до самого отпевания . . .

— Никакого отпевания тут не будет! — говорит та, что посветлее.

— Завтра утро мы бабушку будем увозить. Мы будем хоронить ее на наше семейное кладбище, — поясняет другая.

— Конечно . . . кто против, дело ваше! . . . — кивает Европа. — Частное и, к примеру, персональное дело.

— Товарищ Трифонова, вы не знаете, в котором часу завтра похоронят? Меня все коллеги спрашивают. — Это возник на пороге Красный Крест, строит из себя случайного прохожего, прощельга, висельник. Вот нюх, как у зверя, ну просто талант, стоит запахнуть сделкой, как он тут как тут, словно его только и не хватало!

— Товарищ, похороны отменяются! — звонко откликается Европа. — Похорон не будет!

— Что вы говорите, неужели мы не сможем предать земле коллегу Мирдзу Кристьянову? — едва заметно усмехаясь, вопрошает Красный.

— Мы бабушку увозим! — уловив в его голосе латышский акцент, объясняет на родном языке одна из сестер, темная, — на наше семейное кладбище.

— У нас тоже неплохое, очень даже приличное кладбище, — переходит на латышский товарищ Крустс. — Много зелени, белый чистый песок. Впрочем, это ваше дело — везти или не везти.

— Я же сказала.

— Ваше, ваше дело, — миролюбиво подтверждает рыжий. — Только ответьте сначала, кто мне заплатит за работу. Могилу я вырыл.

— Ах, вот что . . . Извините, мы не знали . . . Мы готовы заплатить! . . . — Внучка щелкает замком сумочки. — Сколько я вам обязана?

— Сколько не жалко . . . — отвечает могильщик. — Я не вымогатель. И с родственником Мирдзочки вообще не взял бы ни копейки, но вы же не хотите ее тут хоронить . . . Мартышкин труд получается!

— Прошу вас . . . — мелькают четыре десятки. — Довольно?

— За могилу вполне. А засыпать! — невозмутимо спрашивает рыжий.

— Засыпать — что?

— Таковы правила, я не виноват. Яма должна быть засыпана.

— Прошу,— к рыжему переходят еще две десятки.— Извините, товарищ, не знаю, как вас величать? — Темная, она, видать, побойчее.

— Крустс.

— Товарищ Крустс... — легкая запинка.— У нас с сестрой к вам очень большая просьба... Скажите, пожалуйста, нет ли у вас другого гроба? Этот такой... такой... вы же сами видите!..

Что правда, то правда — это распоследняя рухлядь, в ней кошку и то хоронить стыдно. Сляпан на скорую руку, криво-косо, обшарпанный, того гляди на глазах рассыплется! А еще двери нараспашку и свету полно, все изъяны как на ладони.

— Нет, мне кажется, это единственный... — уклончиво отвечает Красный Крест.

— Мы сегодня объехали все похоронные бюро... — лепечет темная.— Напрасно... Гробов нет!... «Заходите на следующей неделе!» Смешно! — голос у ней задрожал от возмущения.— Работники магазина диктуют, когда кому умирать! Товарищ Крустс, ну, может быть, у вас все-таки найдется гроб попримачнее? Мы будем вам чрезвычайно благодарны, чрезвычайно, мы сумеем вас отблагодарить!..

— Как назло, ни одного,— сочувственно разводит руками Красный.— Вот если только...

— Если только... — эхом откликаются сестры.

— Если только отдать вам свой, личный гроб. Сам для себя делал. Но тогда я останусь на бобах.— И он делает широкий, в полтора метра, жест, показывая, с чем остается.

— Вы раздобудете себе другой! Куда лучше прежнего! — уверяет его бойкая крохотулька.— Вы не откажетесь нам помочь! Я знаю, вы не оставите нас в беде! Такой мужчина, как вы, не способен на дурные поступки!

— Конечно, нет! — восклицает светленькая.— Товарищ Крустс — джентльмен, это сразу видно! — и густо краснеет.

— Усопший джентльмен без приличествующего ему гроба уже никакой не джентльмен! — отшучивается рыжий охальник.— Костлявая может прийти за мной в любую минуту... Куда же скинут мои рухлые кости?

— Товарищ Крустс, почему вы на себя наговариваете? — с упреком говорит та, что потемнее.— Ни одна молодая девушка не откажется с вами потанцевать!

— Потанцевать? — какой-то странный звук вырывается у рыжего из горла.— Отлично сказано, спасибо!.. Ай-яй-яй... Ну что же мне с вами, плутовками, делать! — Он притворно вздыхает, пряча улыбку.— Ладно уж, пошли, поглядим на мое добро, как знать, может и этот гроб окажется для вас недостаточно хороши!

Нет, мил-человек, нет. Рыжий еще из ума не выжил, чтобы отдавать первому встречному-поперечному свой волшебный корабль. И не подумает! Такую вещь не продашь, не купишь, разве что кому взбредет уплатить за нее, к примеру, цену авто. И то еще обмозговать следует, выгодная ли это сделка.

Красный Крест, шаркая, поспешает на склад, фифочки за ним. На складе, в углу, стоит на козлах довольно внушительный гроб. С блестящими ручками и позолоченными листьями на крышке. Ясное дело, до той мебели, музейной классики, этому коробу далеко, но он все же получше стандартных изделий из магазина похоронных принадлежностей. Все же не ширпотреб. Чему лисички-сестрички несказанно рады, так рады, что готовы повиснуть у Красного Креста, товарища Крустса,

на шею. Так как знать не знают и ведасть не ведают, что тут же, в подполе, стоят накрытые брезентом еще четыре или пять таких же столярных изделий, пардон-мерси, гробов, за которые пансионатом шельме уплачено по всем законам, статьям и параграфам, к примеру.

Улаживают на месте, без проволочек и всякого торга, первобытным образом. Ни тебе бумаг, документации в восьми экземплярах с двенадцатью подписями и четырьмя печатями, ни ходатайств и гарантийных писем, доверенностей и накладных, кассовых ордеров и квитанций. Куплей-продажей обе стороны довольны. Довольна и Европа, как никак и ей перепало две красненькие за обещание присмотреть, чтобы бабуся положили в новый гроб, в старом не оставили. Потом красотулечки упархивают восвояси, у них, понимаешь ты, очень много дел, горе наше луковое. А и вправду ведь, нынче упрятать человека под землю не легче, чем родить, скажем так, процесс сложный и трудоемкий.

Европа с Красным Крестом доковыляли до ближней скамейки и уселись покурить. Тьфу, зараза, мучает неизвестность, и все тут. Так скоблит-дерет, что взвыть впору! Сколько получил рыжий, ну сколько? Что полную пригоршню, это видала, а точно сколько — это нет! Того, мил-человек, теперь уж никто не узнает. Лучше переключиться с темных мыслей на светлые. Й-ных, об чем бы таком светлом подумать? Завтра она непременно пойдет в лавку, и не отговаривайте. Заработанные деньги карман рвут, надо их в оборот пустить, все равно утекут промеж пальцев. А купит она копченую живность или, скажем так, куру гриль. Два гриля. И розовых булочек, и хрустящих вафель, и карамелек с вишневой начинкой. И полную кошелку пепси-колы, самый ее любимый напиток. Опрокинешь стакан бурого пойла и с замиранием ждешь, когда защекочет, засвербит в носу сладкая отрыжка. Ах, мамочки, мамуленьки, сколько на белом свете уготовано тебе, мил-человек, радости, коли хрустят у тебя в кармане купюры, то есть финансы и, скажем так, ассигнации!

— Да... был человек, и вот нет его!.. Взять ту же Мирдзочку, душевная была баба и женщина хорошая... — рассуждает рыжий, пересчитывая в кармане деньги. — И внучки у нее хорошие, слов нет!

— Парейзи, парейзи... верно, верно... — соглашается Европа.

— Реквизит мы сейчас заменим, — говорит Красный Крест, вставая. — Потом пойду поманя покойницу, пусть земля ей будет пухом...

— Верно, верно, — соглашается Европа.

Реквизит — это, ясное дело, та самая рухлядь, кривой и косою гробчик, который отныне будет дожидаться в углу следующего покойника. Красный Крест именует эту штуковину чистилищем, а себя — жрецом при нем. Поскольку он, к примеру, помогает остающимся на этом свете просветлять добрыми делами зачерствелые свои души.

Вдвоем с Европою берутся они за последнюю, финальную процедуру, перекладывая Мирдзу, покойницу, в новую, на этот раз вечную, обитель. Поднимать тяжести — занятие не из легких, но ради коммерции на что не пойдешь, и они справляются с работой вдвоем. А потом расходятся, молча, каждый в свою сторону.

День клонится к вечеру, только теперь до Европы доходит, что она все еще не пообедала. Кишки играют настоящую симфонию, в желудке шум, скандал и, скажем так, демонстрация протеста. Тьфу, зараза, шеф-повар давно уже ушла, в кухне суетятся одни помощницы, от них ничего путевого не дождешься. Делать нечего, обойдемся обыкновенным ужином, зато завтра!.. Да, завтра — й-ных, на всю катушку!

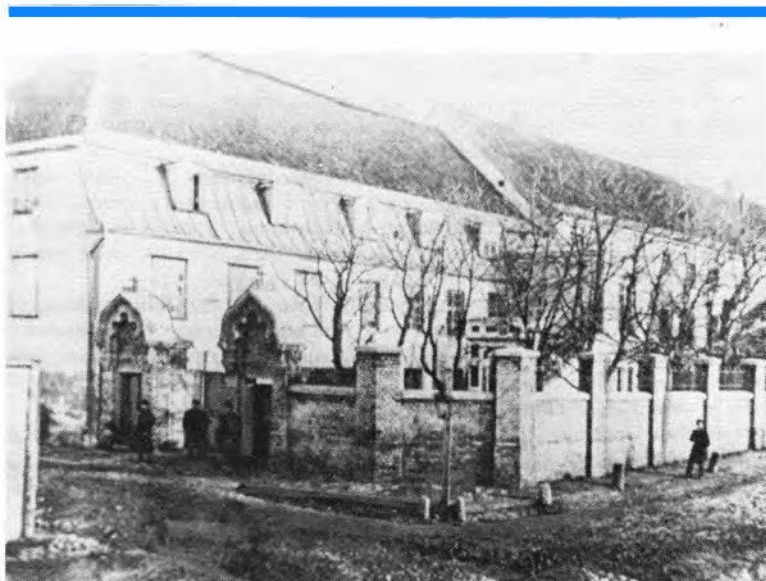
День подходил к концу, можно было бы закончить и повествование, поставить, так сказать, точку. Но спокойной ночи не получилось, несчастье

произошло с Густом. Ближе к полуночи нашли дурака утопшим. Вырыв для Мирдзы могилу, он, видно, по старой своей привычке пошел на озеро купаться и не остыв полез в воду, судорогой его и прихватило. Пытался выплыть, да запутался в водорослях, еле его оттуда выволокли.

На следующий день Августа опустили в им же приготовленную яму. Похоронили его в великолепном дубовом гробу, поскольку и Белый Крест и Белый дед не сговариваясь решили, что для порядочного человека ничего не жалко. И постановлению этому рыжий воспротивиться не смог — в это время лежал он растянувшись ничком возле своего реквиэнта в глубоком похмелье. А голой бабы с внутренней стороны крышки никто и не заметил, одна Европа о ней знала. И была твердо уверена, что святой Петр пропустит Августа в рай и с этой беспутной девкою, иначе что же это за царствие небесное, коли нет в нем, скажем так, справедливости.

И когда бросила она в могилу три горсти песка, вдруг задрожало у ней от страха сердечко. Святый боже, дозвожь мне пожить еще на этом свете, смилуйся, господи! Дозвожь мне еще пожить, чтобы искупить добрыми делами мелкие свои грешки, а у кого их нет! — Европа перекрестилась, скажем так, для верности и крепости, хотя, к примеру, она стопроцентно неверующая, понимаешь ты, атеистка, матерьялистка и безбожница.

А если все-таки рай существует? Тогда ведь и ад есть, скажем так, преисподняя. Со всеми адскими муками. У кого спросить, от кого, мил-человек, правды добиться? А? Ох, мамочки, мамуленьки! . .



Здание Рижской Гребешниковской богадельни в 1870 году



ПОЛУНОЧНИЦА

Русский поэт, переводчик Владимир МИКУШЕВИЧ родился в 1936 году в Москве. В 1960 г. окончил Московский педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза. Еще в студенческие годы начал работу над переводом романской средневековой поэзии. В 1974 г. в книгах серии Библиотеки всемирной литературы были опубликованы переводы В. Микучевича из поэзии миннезингеров и роман Кретьена де Труа «Ивейн, или Рыцарь со львом»; в 1980 г. в серии «Литературные памятники» — роман Кретьена де Труа «Клижес». Переводил произведения Шелли, Новалиса, Тина, Брентано, Эйхендорфа, Шамиссо, Гейне и других поэтов конца XVIII в., первой половины XIX в., а также — классическую и современную поэзию народов СССР; из латышских поэтов — М. Чаклайса, Л. Бриедиса и других авторов.

В дымчатом затеряно бору,
Там, где не светает, не темнеет,
Без малейшей ряби на ветру
Озеро бесшумное синее.

Избегая тени голубой,
От которой улетает птица,
В озере мы выделн с тобой
Только наши слившиеся лица.

Озеро застало нас врасплох,
Жизнью порознь раненных смертельно;
Вот какими с неба видит Бог
Нас, не существующих раздельно.

Призрак минувших заплаканных зм,
Вспыхнув со стужей неосозательной,
В сумерках вновь подступает к монм
Голым деревьям, где я, пилгрим,
Засветло с грезой моей обязательной
Жду свиристей, чья колкая трель —
Для голосов одиноких напустивше
В знак ли того, что достигнута цель,
Если меня похоронит метель,
И потому неизбежно присутствие
Любящих возле могилы, когда,
Кажется, не в чем и некому каяться
В мире, где нет ничего, кроме льда,
И появляется поздно звезда
Лишь потому, что позднее смеркается?

ПОЛУНОЧНИЦА

В темных сенях притаилась молочница,
Полный подойник не плоше светильника;
И завела бы глаза, полуночница,
Не заводя спозаранку будильника,

Только поблизости всхлипнуло, двинулось,
Листвие сбросив, как рубище рваное,
В дверь ли прокралось, в окошко ли кинулось
И навалилось, прильнуло, незваное;

Зашекотало назойливо, вкрадчиво,
Разбередив родовое, природное;
Так вот исчадие омута рачьего
Тащит купальщицу в царство подводное.

Неуловимое и неизбежное,
Жилы во мраке зажгло, виноватое,
Чтобы не портилось хищное, нежное,
Вещее племя, болотом зачатое.

* * *

Повторяю тебе: для меня ты одна,
Но в тебе, сквозь тебя мне другая видна.

И, счастливый с тобой, скрыть не в силах я, нет,
Что другую любил до тебя много лет.

Избежать я не мог этих вкрадчивых чар;
Нет как нет в ней тепла, только холод и жар.

И на озере, там, где сгущается мгла,
При тебе подплыла и меня позвала

На песчаное дно, на подводный погост . . .
Слышно будто бы там, как поет Алконост.

Отвечаю: там тьма, там глухая тюрьма;
Шепчет мне из воды: там твой терема.

Отвечаю: постой! Там покой гробовой.
Снова шепчет мне: там твой престол родовой.

Не забыть мне с тех пор до последнего дня,
Как заплакала ты, посмотрев на меня,

В тишине по ночам у тебя на груди
Я шепчу иногда той, другой: погоди!

Долюбить мне теперь дай земную мою!
В ней одной, наконец, я тебя узнаю.

СПАДЩИНА

Еще солнце не всходило
В радужном дрожанье,
Когда меня разбудило
Жалобное ржанье.

Скорый поезд шел по стали
Скользкого закала,
И вдоль той же магистрали
Тень коня скакала.

И другие кони ржали
В степном бездорожье,
Когда мы с тобой держали
Путь на Запорожье.

Крикнул хлопец: «гули, гули»
В заревой прохладе,
Так что я не слышал пули,
Падая в леваде.

Запустение в станице,
С Богом я не спорю:
В металлической гробнице
Везут меня к морю.

Вечный путь мой только начат,
И рядом со мною
Тень коня, как прежде, скачет
Звездной целиною.

Ты, наденюсь, не заплачешь,
Когда, взнуздан духом,
Сам вожак небесных скачек
Захрапит над ухом.

КОСУЛЯ

Напрашивается на пулю
Животное на земле,
И я увидел косулю
В рассеивающейся мгле
Рассвета, когда в тумане
Лазоревая ольха
В тинистом океане
Высится, где тиха
Тень, кисея отверстий,
Которую вдруг прожег
Вспышкой рыжей шерсти
Жилистый, жаркий прыжок,
Щедрый в своем посуле
Ягод и молока,
Пока небесной косуле
Нравятся облака
Злачные, но морошки
Не получит Икар,
Пока нас щекочут рожки,
Предвещающая загар;
И, лазурь карауля,
Планируя тайный взлет,
Косулю настигнет пуля,
И солнышко не взойдет,
Так что от хищной персти,
Имевшей свою звезду,
Останутся клочья шерсти
И наши кости во льду.



Отец Иоанн родился в 1956 году в Риге. С отличием окончил Факультет приборостроения и автоматизации Рижского политехнического института и Ленинградскую православную духовную семинарию. Учился также в аспирантуре РПИ, в Ленинградской и Московской духовных академиях. С 1984 года служит духовным наставником в Рижской Гребенщицкой старообрядческой общине.

ПОСЛЕ РАСКОЛА

Во второй половине XVII века в результате реформ патриарха Никона Русская Церковь раскололась на две половины — новообрядцев и старообрядцев. Государство и правящая церковь подвергли старообрядцев жестоким гонениям, продолжавшимся вплоть до XX века. В силу ряда исторических причин старообрядчество позднее распалось на два течения — т. н. поповцев, имеющих священство, и беспоповцев, не имеющих церковной иерархии, то есть епископа, а функции священников, насколько это канонически возможно, в их среде выполняют специально благословленные духовные наставники, или «духовные отцы».

На территории Латвии старообрядцы появились уже в XVII веке, основывая свои общины преимущественно в восточной ее части — Латгалии. По переписи 1935 года в Латвии проживало более 100 тыс. старообрядцев, все они были беспоповцами, выходцами главным образом из Новгородской, Псковской и других северо-западных областей России. В настоящее время в Латв. ССР зарегистрировано 65 действующих старообрядческих общин. Крупнейшая из них — Рижская Гребенщицкая, являющаяся также крупнейшей беспоповцевой общиной в СССР. Сами себя старообрядцы предпочитают называть «староверами», или «древлеправославными христианами», а совокупность общин и верующих — Древлеправославной Поморской Церковью.

Рижская Гребенщицкая старообрядческая община основана в 1760 году, в прошлом веке имела несколько молитвенных храмов, приют для сирот, больницу, богадельню, городское училище (одно время это была единственная

русская школа в городе). Для изучения деятельности общины в Ригу командировался служивший чиновником писатель Н. С. Лесков, посвятивший рижским старообрядцам несколько очерков. Другой писатель, П. Д. Боборыкин, под впечатлением здесь увиденного написал роман «Обмирщение».

Сегодня Рижская община — фактически духовный центр старообрядцев-поморцев. Здесь издается распространяющийся по всей стране и за рубежом «Старообрядческий церковный календарь». Храм, вмещающий несколько тысяч человек, по большим праздникам полон. Среди служащих храма довольно много молодежи. Совет общины надеется открыть при храме духовное училище.

Нелегкая жизнь заставила «ревнителей русской старины» искать себе приют вдали от родины. Городские власти, сколько помнят рижские староверы, чаще всего были к ним благосклонны. Уважением к местному населению отвечали и старообрядцы: чтили местные традиции, знали язык.

Бережно сохраняли рижские старообрядцы свои культурные традиции. В довоенное время здесь выходило несколько религиозно-просветительных журналов, действовали различные кружки — певческий, иконописный, культурно-исторический и т. д. В помещениях общины находится около 1,5 тысячи икон, некоторые относятся к XV—XVI векам. В книгохранилище покоятся несколько десятков рукописей поморского письма, первопечатный Апостол и другие редкости. Большое число книг, в том числе «Древнерусская летопись» (XVI в.), «Словник святых отец» (XV в.), «Сборник сочинений преп. Максима Грека» (XVI в.), были в 70-е годы советом общины переданы на хранилище в Библиотеку АН СССР.

Всякое духовное движение, если оно не имеет в себе достаточной глубины, если оно чуждо приближению к Истине — неизменно умирает, оно не может быть долговечным. Раскол в Русской Церкви давно уже перевалил тот возраст, который можно назвать почтенным. Ведет свой отсчет, набирает силу четвертая сотня лет. И все эти годы — почти непрерывное горе, костры, дыбы, колодки каторжников, тюремные цепи. Кто, кроме Бога, знает, сколько крови и слез было пролито на твою землю, Россия, «ревнителями древлего благочестия»? Что это за народ-фанатик, в котором с неимоверным усердием и упорством убивали наиболее ярко выражающую национальные устои часть этого народа, но так и не смогли убить? Что двигало этими людьми — косность, упрямство, невежество? Слепая борьба «за единый аз»?

Всякий человек, кто хоть сколько-нибудь серьезно соприкасается с национальной русской историей, волюно или невольно должен был решить для себя этот вопрос: что это такое — русский церковный раскол XVI столетия?

В истории каждого народа есть какой-то краеугольный камень, который позволяет заглянуть в самую глубь национальной психологии. В русской истории, несомненно, таким камнем является церковный раскол, который повернул всю историю развития России на

новый путь, по моему глубокому убеждению, внутренне чуждый национальному духу. Скорее всего, такой поворот был в принципе неотвратим, хотя и мог бы принять другие, не столь трагические формы. Во всяком случае, в каком бы ключе ни оценивалась дальнейшая история народа — положительном или отрицательном — церковное сознание без особого труда всю дальнейшую цепь российских событий может вывести именно исходя из Велико-го Раскола.

Современный читатель, видимо, в большинстве своем довольно абстрактно воспринимает исторические темы столь глубокой древности. Кто такие староверы, думается, не всякий российский житель сейчас ясно себе представляет, явно не догадываясь, что и сегодня практически в каждом российском городке есть на какой-нибудь неприхотливой окраине домишко, где не менее регулярно, чем в официальной церкви, староверская община возносит к Богу молитвы. И в таком положении находятся многие сотни тысяч русских людей, если не сказать миллионы. У приспешников «отца народов» староверы, судя по всему, вызывали какую-то особую ненависть — иначе не объяснить, почему абсолютное большинство ныне зарегистрированных в СССР храмов староверов-беспоповцев находятся не в России, а в Прибалтике, хотя основное число

верующих проживает в РСФСР. Подлинных староверов не удавалось превращать в лакеев, доносчиков, Церковь уходила в подполье, в глухие леса. Чудовищные обвинения в «асоциальности», во всех смертных грехах, да и апокалиптические в целом настроения самих беспоповцев, привели к тому, что большинство староверских молитвенных домов в России до сих пор действуют полулегально, а в некоторых случаях и нелегально.

Единого общественного мнения в отношении староверов к нынешнему времени так и не сложилось — и это закономерно. У одних ои столетиями вызывали неприязнь, особенно у тех, кто, подобно Николаю I, желал видеть во всем строгий порядок, уставность и подчиненность, или у тех, кто, считая себя «господином», в простом человеке мог видеть только темного «раба» и «неуча»; у других, преимущественно тех, кто жил со староверами по соседству, они, напротив, вызывали чувство симпатии, ибо славились трудолюбием, трезвостью, основательностью. Выросшее в отрыве от родной истории, молодое поколение вряд ли станет с историей староверия соединять имена Ломоносова, Третьякова, многих российских писателей и поэтов. А между тем староверие дало русской культуре огромный пласт одареннейших личностей, самородков. Не всем из них удалось сохранить свою самобытность, как, например, ставшим в наше время популярными выходцам из Поморья Ключеву и Шергину, но

условия жизни последователей протопопа Авакума нередко приводили к появлению на свет характеров сильных, незаурядных. Перечень заслуг ревнителей Старой Веры перед отечественной культурой, особенно в деле сохранения древних книг, икон, народных обычаев, мог здесь быть весьма велик, но это и без меня достаточно объективно уже оценено специалистами. Я бы счел для себя величайшим благом, если бы смог читателя убедить по крайней мере в том, что если его заинтересует проблема Великого Раскола и живые носители древних обычаев — то придется кое-какие усилия для этого предпринять самому. Слишком часто, к несчастью, до сих пор приходится встречаться с сознательной деформацией отечественной истории, к чему немалую энергию в свое время приложили еще синодальные миссионеры. Можно, конечно, утверждать, что Мельников-Печерский идеализирует староверский быт, хотя он и был по долгу служб скорее гонителем, чем защитником, но и изображение моих единоверцев извергами рода людского, как это сделал, например, Черкасов в романе «Хмель», иначе чем предвзятостью и излишне затянувшимся революционным пафосом не назовешь. Да, у нас практически почти нет интеллигентов в третьем поколении, потому что даже в XX уже веке и дед мой и бабка в своем же отечестве считались незаконнорожденными, ибо официально их родители не состояли в церковном браке (то есть не венчались в синодальной церкви), а значит, юридически были людьми ущербными. Мало того, староверы были в России практически полностью лишены гражданских прав, обладая при этом почти поголовной грамотностью, полученной в нелегальных школах или от родителей. Тем не менее сразу после 1905 года появилась, наконец, в России своя староверская интеллигенция — учителя, врачи, юристы, даже профессора. Но каждому из них уже были отсчитаны свои дни...

Настало время ответить на вопрос: за что все же боролись эти странные люди, сознание которых настолько способно сохранить самобытность, что даже живя за границей, они практически не поддаются ассимиляции? Да боролись за то, за что мы все сейчас боремся — за свободу убеждений, свободу совести, свободу воспитывать детей не в казенной вере, а вере отцов, сво-



Печать Рижской Гребенщиковской богодельни

буду сохранять национальный уклад жизни. Русский человек никогда не считал себя азиатом, но не причислял и к европейцам — народ этот достаточно самобытен, причем, как и у всякого народа, национальный характер наш не состоит исключительно из одних достоинств. Приняв в X веке христианство от наиболее цивилизованной в то время державы — Византии, Русь приобрела к самым вершинам духовной культуры того времени. Те, кто повторяет, что Русь долго еще прозябала в невежестве, а христианство усваивала большей частью в форме обрядоверия, отстали от исторической науки не меньше чем лет на 100. Уж слишком красноречиво говорят за себя древние храмы, иконы, книги, чтобы их значение можно было принизить. Русское богословие того времени называют «молчаливым». Это верно только отчасти, да и именно в созерцательности проявляются вышние для людей формы богопознания. Пришли на Русь ереси — возникла и нужда в особом рода богословской литературе. Как и каждая Поместная Церковь, Русская Церковь обладала своими особенностями, соответствующими психическому складу своего народа. Для русских людей того времени была характерна высшая степень храмового благочестия, да и весь быт был насквозь пронизан молитвой, то есть отличался сакральностью.

Любой достаточно серьезный историк понимает, что под видом борьбы за древний церковный обряд на Руси шла в XVII веке борьба за ценности более глубокие, хотя и обряд, как символ, соединяющий человека с Богом, имел особое для верующих значение. Во всяком случае глумление и издевательство над древним обрядом вовсе не такое действие производило на человека в XVII веке, как в нашем столетии. Основное знамя Староверия — борьба против обмирщения, то есть секуляризации Церкви, против введения чуждых Восточной Церкви традиций. Целому народу хотели насильно поменять весь бытовой уклад, деформировать мироощущение. Конечно, теория мирового прогресса не оставляет никаких иллюзий в том, что средневековый быт рано или поздно должен вытесниться другим. Но в том-то трагедия и состояла, что теории не были в то время знакомы с теорией мирового прогресса, а хождение в умах людей как раз имели другие теории — и среди



Основатель Рижской Гребенщиковской богодельны (1760 г.) о. Феодор

них «теория поэтапного завоевания мира антихристом», изложенная в появившихся на Руси за несколько десятилетий до раскола книгах украинских богословов. На Руси во времена раскола вовсе не отрицали огульно все достижения западной цивилизации, напротив, к достижениям военных, естественных, технологических наук проявился большой интерес. Но не будем забывать, что многое русского человека в то время и настораживало. Это современному школьнику хорошо известно, что эпоха Возрождения — это хорошо, но в глазах православных христиан того времени это было возрождением язычества и вовсе не было так хорошо. В сознании людей XVII века идею Бога насильно пытались переместить с центрального места на второстепенное, изменить систему религиозных и нравственных ценностей. Все это трудно понять человеку ненаскущенному в церковной жизни, но можно почувствовать косвенно — на глобальных изменениях в церковном искусстве: русско-византийский стиль стало вытеснять барокко, иконы заменялись картиннами, молитвенное унисонное пение многоголосыми концертами и т. д.

Исконно церковное искусство вытеснялось светским, правда пока еще в нем присутствовало религиозное содержание. Историки и социологи все это называют естественным процессом секуляризации, но с точки зрения религиозной — это угасание в человеке божественного духа, переход от духовного уровня жизни к душевному, от мира мистических переживаний в мир чувственный, эстетический.

Человек, воспитанный технократической цивилизацией, любит задаваться вопросом: ведь движение «ревнителей Старой Веры» — это же «заговор обреченных»? Умно ли противостоять прогрессу? Для современного сознания здесь есть, конечно, своя трудность. И все же разговор на предпринятую тему мне представляется важным — не для исторического оправдания и, тем более, не для завоевания сторонников — а для решения вопроса достаточно принципиального: возможно ли и в наше время понять психологию верующего человека? Если этого не произойдет, то как можно дальше говорить о расширении демократии, о действительном союзе верующих и неверующих?

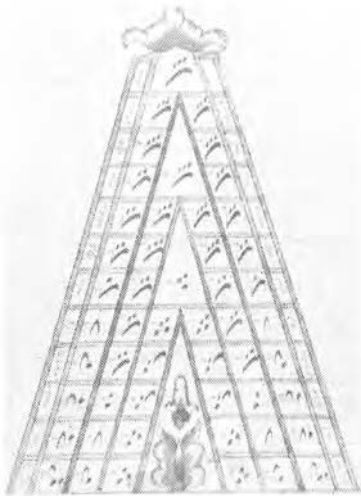
Человеку глубоко религиозному чужд утилитарный подход к событиям, он не будет искать личной выгоды за счет ущерба для души. Верующий человек вовсе не стремится выглядеть современным, попасть в водоворот событий, в «движение по течению», тем более, что естественный ход истории в его сознании нередко соединяется с угасанием в людях духовности (ну, например: искусство религиозное вытеснилось «эстетическим», а затем и «физиологическим»). Это в наше время нередко можно встретить верующего человека, система ценностей которого практически мало отлична от системы ценностей неверующего или индифферентного человека. Но не так просто перешагнуть барьер в 300 лет. Да и сейчас **глубоко верующий** человек с точки зрения аксиологии, мотивации поступков, заметно отличается от **верующих поверхностно**. И не стоит таких людей обругивать фанатиками — фанатикам человечество обязано всеми своими культурными, научными и социальными достижениями. Христос, был ли Он человек или Божочеловек, как учит Церковь, в любом случае знал, что шел на верную смерть. В Его действиях не могло быть никакого мирского расчета.



Титульный лист поморской певческой книги

И вот результат — ничего хоть сколько-нибудь сравнимого с образом Христа человечество так и не смогло создать. Основа мотивации поступков верующего человека лежит в области духовной — и в этом его сила.

Заключая рассуждения о делах давно минувших, трудно удержаться от соблазна привести хотя бы две цитаты из недавно опубликованной в журнале «Наше наследие» (1988, № 2) статьи величайшего русского философа В. Соловьева «Когда был оставлен русский путь и как на него вернуться». Это одна из ранних статей В. Соловьева, но читатель не мог прежде увидеть этой работы — сначала из-за синодальной цензуры, а потом и по другим причинам. Необходимо отметить, что В. Соловьев давно отмечен и высоко ценим у определенной части сторонников староверия. Не все его работы были этими людьми одинаково читаемы, в особенности сочинения прокатоллические, но последний труд великого мыслителя



Певческая горка древнерусской нотной азбуки

«Три разговора» действительно пользовался среди получивших светское образование староверов большой популярностью. В настоящей статье не ставится задача всесторонне оценить Раскол, но все же экскурс в прошлое хотелось бы завершить словами интереснейшего русского мыслителя: «Петр Великий — это государственная власть, ставящая себя вне народа, раздвояющая народ и извне преобразующая быт общественный, грех Петра Великого — это насилие под обычаем народным во имя казенного интереса — грех тяжкий, но простительный. Патриарх Никон — это церковная иерархия, ставящая себя вне церкви, извне преобразующая быт религиозный и производящая раскол, грех здесь — насилие жизни духовной во имя духовного начала, профанация этого начала — грех против Духа Святого». Обвинение серьезное, серьезно к этому в то время и относились. Вспомним, что в защиту народных церковных устоев выступил отнюдь не один только народ, но и практически весь круг церковных интеллектуалов того времени — не только «провинциальные» протопопы (Аввакум, Даниил), но и протопопы Кремлевских соборов, настоятели авторитетнейших монастырей, частично даже церковные иерархи (Павел Ко-

ломенский, Арсений Вятский, Макарий Новгородский и другие). Не перьями, а пушками, коврами доказывалась правда. «Никонианство состоит, конечно, не в трехперстном сложении и не в сугубой аллилуйе, оно состоит в том ложном римском начале, по которому Истина и Благодать Христова, — пишет В. Соловьев, — будучи собственностью и привилегией церковной иерархии, могут принудительно навязываться ею остальной церкви как безгласному стаду, и религиозное единение всех может достигаться средствами насилия».

Итак, староверская Церковь, загнанная в подполье, жива и через три столетия! Казалось бы — сейчас ничто не мешает восстановить историческую справедливость. Теоретически — да, и объективно настроенные ученые многое в этом отношении уже сделали. Что же касается современного состояния Древлеправославной (староверческой) Церкви, то приходится признать, что век нынешний, как его называют на Западе постсекулярный, быстро уничтожает остатки прошлой духовной культуры, гораздо быстрее, чем каторжные колодки и пули. С одной стороны — явное оживление в религиозной жизни многих староверских общин, с другой — удивительная безынициативность, в среде которой оказались потомки «ревнителей древлего благочестия». Старовер немислим без традиционного жизненного уклада. А как его сохранять, если уже несколько поколений выросло в современных городах (насилно согнанные с земли или бежавшие от порабощения), иногда стихийно, а нередко и продуманно разобщенных в быту друг с другом? Остается одно место общения — храм, легальное присутствие которого в российских староверских общинах как раз скорее является исключением, чем правилом. А если где-то и сохранился староверский храм, то разве не напомнило до сих пор действующее «законодательство о культах» устав «общества по погребению своих членов»?

Староверческая Церковь переживает сейчас довольно парадоксальную ситуацию, в той или иной форме, видимо, характерную и для других конфессий. Верующих в храмах не становится меньше, но им свойственно какое-то новое сознание. Не проникающее «всю плоть и кровь» убеждение, а номинальное христианство, не имеющее глубоких корней. Парадокс состоит в том,

что, не зная не только Старой Веры, но даже и старых обрядов, люди очень обижаются, если их заподозрят в том, что они не «старообрядцы». Правда, все это очень характерно для Прибалтики и пока еще не в такой сильной степени заметно в России.

Если не ошибаюсь, Д. Лихачев говорил, что человеческая культура измеряется глубиной исторической памяти. А как можно оценить культуру человека, если его историческая память простирается не на тысячу лет, даже не на несколько десятков, а начинается, скажем, со времени возникновения стилиа «хэви-металл»? Драматичность ситуации состоит в том, что люди сейчас тянутся к христианству, но при отсутствии подлинной культуры, при всеобщем преобладании секулярного мышления нравственно-религиозные идеи христианства остаются за пределами их сознания. Совершенно открытая, не содержащая в себе никакого эгоизма, христианская культура сейчас для многих остается тайной за семью печатями.

Случай из моей пастырской практики. На погребении присутствует уже не первой молодости человек, не старовер, но все же русский по национальности. Внимательно слушает богослужение. После окончания службы подходит и с большой заинтересованностью вопрошает — сколько лет надо учиться, чтобы так хорошо усвоить арабский язык? Странно это, но не удивительно. Ведь и ты, уважаемый читатель, видел во время экскурсии, как в древнем храме, где предки наши в дни печали и радости немало пролили слез, где даже запах тех лет не может полностью выветриться, стоят и молодые, и пожилые мужчины, которым и в ум не придет обнажить голову.

Церковь была осмеяна и оплевана. Стало ли нам от этого лучше и легче жить? Допускаю, что многие люди совершенно свободно обходятся в жизни без религии. Это, как говорится, их личное дело. Ну, а если человек нуждается в Церкви, нуждается в Боге? И, гордо презрев «родные пенаты», чему нас столько лет настойчиво учили, молодые и не очень молодые интеллектуалы бросаются в дебри восточных учений, вбивая себе в голову приемы медитаций, психотехники и т. д. Если это делает человек, у которого нет корней, то у него, наверное, и выхода другого нет, но меня всегда удивляло, почему это

делают люди, у которых есть или должны быть национальные корни? Ведь заранее можно сказать, что для большинства людей результат таких медитаций может быть чуть-чуть побольше, чем просто пшик. Уж коль человек мнит себя интеллектуалом, как может он не знать элементарных основ этнопсихологии — религия всегда принимает национальную форму, соответствующую природе этого народа? Ну разве не печально сознавать: ныне мало кому приходит в голову, что простой русский дед из «раскольников», которого и сейчас преспокойно можно найти в каких-нибудь глухих местах России, в этой самой психотехнике и приемах медитации понимает гораздо больше? И дед этот — гораздо цельнее, душевно и духовно здоровее наших «восточников».

Многое из духовных ценностей народа утеряно, многое утеряно безвозвратно. Человек теряет ориентацию в моральных ценностях. Если что-то приобретаем, чаще всего — эгоизм, озлобленность, распущенность. Если что-то теряем, то чаще всего — семью, милосердие, доброту. Забыв свои национальные корни, пытаемся учить другой народ. Вообще, чем меньше получается у себя, тем больше стремимся учить других. По крайней мере, так было. Нас боялись, в глаза уважали, но не прятали ли в уголках губ улыбку? Нас шокировал фильм «Покаяние», но где **наше** покаяние? Не очистившись, духовно вырасти нельзя.

Как идти вперед, если мы не знаем, что человеку надо? Ведь можно в конце концов когда-нибудь достичь молочных рек и кисельных берегов, даже посадить на берегах шоколадные деревья, а потом . . . удавиться на свободном суку от тоски души.

Чему и как учить детей, если моральные нормы повисли в воздухе? Если в вопросах морали беспомощные сами учителя?

Не надо, читатель, падать духом и лихорадочно искать врагов Отечества. Верующий человек должен молиться о врагах, а не искать мщения. В этом одна из первооснов Христианства. Суть морального учения Христа — в Нагорной проповеди. Истину ищи в глубине учения и не забывай, как ветхозаветная и даже языческая мораль прекрасна себя может чувствовать и на фоне христианской атрибутики, в христианском храме.

Нравственное состояние нашего общества, его духовное состояние во многом будет зависеть от того места, какое займет в нем Церковь. Идет разработка нового законодательства о свободе совести, и невольно возникает вопрос: а нужно ли в подлинно демократическом обществе вообще какое-либо особое законодательство о Церкви? Не накладывает ли это законодательство неизбежно уже фактом своего существования дополнительные оковы на Церковь? Не достаточно ли фиксации норм свободы совести в тексте Конституции? Наивно предполагать, что Церковь займет в обществе и совести людей такое же место, какое у нее было столетия назад — и свободный Запад этому пример. Так зачем же ее еще теперь в чем-то ограничивать — пусть займет свое естественное место.

Люди сейчас, как во времена падения Вавилонской башни, разучились друг друга понимать. Но нормальная

жизнь без этого невозможна. Нельзя слушать только свой голос — нужно прислушаться и к чужому. Людей разъединяют не столько национальные религии, сколько бездуховность. Староверам часто приходилось жить на чужой земле, но нигде они не вызывали к себе неприязни — потому что, дорожа своей культурой, учились уважать и чужую. Высшая ценность на этой земле — человек. Почему мы так не уважаем эту ценность? Почему готовы друг друга только унижать и даже уничтожать? Давайте учиться уважать не только Человека, но и личность в нем, его убеждения. И если, читатель, суждено тебе будет в глухой сибирской или уральской тайге увидеть полусгнивший староверский крест — поклонись этому месту. Там лежит человек большой силы духа, умевший бороться за свои убеждения, никому их насильно не навязывая.



Крестный ход во время празднования тысячелетия крещения Руси

ОКАЯННЫЕ ДНИ

20 апреля 1919 г.

Как мы ввали друг другу, что наши «чудо-богатыри» — лучшие в мире патриоты, храбрейшие в бою, нежнейшие с побежденным врагом!

— Значит, ничего этого не было?

Нет, было. Но у кого? Есть два типа в народе. В одном преобладает Русь, в другом — Чудь, Меря. Но и в том и в другом есть страшная переменячивость настроений, обликов, «шаткость», как говорили в старину. Народ сам сказал про себя: «Из нас, как из древа, — и дубина, и иконка», — в зависимости от обстоятельств, от того, кто это древо обрабатывает: Сергей Радонежский или Емелька Пугачев. Если бы я эту «икону», эту Русь не любил, не видал, из-за чего же бы я так сходил с ума все эти годы, из-за чего страдал так непрерывно, так люто? А ведь говорили, что я только ненавижу. И кто же? Те, которым, в сущности, было совершенно наплевать на народ, — если только он не был поводом для проявления их прекрасных чувств, — и которого они не только не знали и не желали знать, но даже просто не замечали лиц извозчиков, на которых ездили в какое-нибудь Вольно-Экономическое общество. Мне Скабичевский признался однажды:

— Я никогда в жизни не видал, как растет рожь. То есть, может и видел, да не обратил внимания.

А мужика, как отдельного человека, он видел? Он знал только «народ», «человечество». Даже знаменитая «по-

мощь голодающим» происходила у нас как-то литературно, только из жажды лишний раз лягнуть правительство, подвести под него лишний подкоп. Страшно сказать, но правда: не будь народных бедствий, тысячи интеллигентов были бы прямо несчастнейшие люди. Как же тогда заседать, протестовать, о чем кричать и писать? А без этого и жизни не в жизнь была.

То же и во время войны. Было, в сущности, все то же жесточайшее равнодушие к народу. «Солдатки» были объектом забавы. И как сюсюкали над ними в лазаретах, как ублажали их конфетами, булками и даже балетными танцами! И сами солдатки тоже комедничали, прикидывались страшно благодарными, кроткими, страдающими покорно: «Что ж, сестрица, все Божья воля!» — и во всем поддакивали и сестрицам, и барыням с конфетами, и репортерам, ввали, что они в восторге от танцев Гельцер (насмотревшись на которую однажды один солдатик на мой вопрос, что это такое по его мнению, ответил: «Да черт... Чертом представляется, козлекает...»).

Страшно равнодушны были к народу во время войны, преступно ввали об его патриотическом подъеме, даже тогда, когда уже и молодец не мог не видеть, что народу война осточертела. Откуда это равнодушие? Между прочим, и от ужасно присущей нам беспечности, легкомысленности, непривычки и нежелания быть серьезными в самые серьезные моменты. Подумать только, до чего беспечно, спустя рукава, даже празднично отнеслась вся Россия к на-

Продолжение. Нач. см. «Даугава», № 3.

чалу революции, к величайшему во всей ее истории событию, случившемуся во время величайшей в мире войны!

Да, уж чересчур привольно, с деревенской вольготностью, жили мы все (в том числе и мужики), жили как бы в богатейшей усадьбе, где даже и тот, кто был обделен, у кого были лапти разбиты, лежал, задерживая эти лапти, с полной беспечностью, благо потребности были дикарски ограничены.

«Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь». Да и делали мы тоже только кое-что, что придется, иногда очень горячо и очень талантливо, а все-таки по большей части как Бог на душу положит — один Петербург подтягивал. Длительным будничным трудом мы брезговали, белоручки были, в сущности, страшные. А отсюда, между прочим, и идеализм наш, в сущности, очень барский, наша вечная оппозиционность, критика всего и всех: критиковать-то ведь гораздо легче, чем работать. И вот:

— Ах, я задыхаюсь среди этой Николаевщины, не могу быть чиновником, сидеть рядом с Акакием Акакиевичем, — карету мне, карету!

Отсюда Герцены, Чацкие. Но отсюда же и Николка Серый из моей «Деревни», — сидит на лавке в темной, холодной избе и ждет, когда подпадет какая-то «настоящая» работа, — сидит, ждет и томится. Какая это старая русская болезнь, это томление, эта скука, эта разбалованность — вечная надежда, что придет какая-то лягушка с волшебным кольцом и все за тебя сделает: стоит только выйти на крылечко и перекинуть с руки на руку колючку!

Это род нервной болезни, а вовсе не знаменитые «запросы», будто бы происходящие от наших «глубин».

«Я ничего не сделал, ибо всегда хотел сделать больше обыкновенного».

Это признание Герцена.

Вспоминаются и другие замечательные его строки:

«Нами человечество протрезвляется, мы его похмелье . . . Мы канонизировали человечество . . . канонизировали революцию . . . Нашим разочарованием, нашим страданием мы избавляем от скорбей следующие поколения . . .»

Нет, отрезвление еще далеко.

Закрою глаза и все вижу как живого: ленты сзади матросской бескозырки,

штаны с огромными раструбами, на ногах бальные туфельки от Вейса, зубы крепко сжаты, играет желваками челюстей . . . Вовек теперь не забуду, в могиле буду переворачиваться!

21 апреля

«Ультиматум Раковского и Чичерина Румынии, — в 48 часов очистить Буковину и Бессарабию!» Так неправдоподобно-глупо (даже если это все то же издевательство над чернью), что приходит в голову: «Да уж не делается ли все это по чьему-то приказу, немецкому, что ли, — с целью изо дня в день позорить коммунистов, революционеров, вообще революцию?» Затем — «От победы к победе — новые успехи доблестной красной армии. Расстрел 26 черносотенцев в Одессе . . .»

В «Известиях», — ох, какое проклятое правописание! — после передовой об ультиматуме, напечатан поименный список этих двадцати шести, расстрелянных вчера, затем стайка о том, что «работа» в одесской чрезвычайке «налаживается», что «работы вообще много», и наконец гордое заявление: «Вчера удалось добыть угля для отправки поезда в Киев». — Счастливейший день! И это после ультиматума-то!

Ну, а если румыны не послушаются Раковского, что тогда? И как дьявольски однообразны эти клоунские выходы! Впрочем, может быть, грубо инсценируется что-нибудь, дается кому-то придирака? Кому же именно?

Да, а «буржуи» уж совсем было поверили в Петроград. Ведь говорили, что вот тот-то своими глазами видел телеграмму о занятии Петрограда (после того, как англичане будто бы подвезли хлеба для него) . . .

Служ, что и у нас будет этот дикий грабеж, какой идет уже в Киеве, — «сбор» одежды и обуви.

Давеча прочитал про этот расстрел двадцати шести как-то туло.

Сейчас в каком-то столбняке. Да, двадцать шесть, и ведь не когда-нибудь, а вчера, у нас, возле меня. Как забыть, как это простить русскому народу? А все простится, все забудется. Впрочем и я — только стараюсь ужасаться, а по-настоящему не могу, настоящей восприимчивости все-таки не хватает. В этом и весь адский секрет большевиков — убит восприимчи-

вость. Люди живут мерой, отмерена им и восприимчивость, воображение, — перешагни же меру. Это — как цены на хлеб, на говядину. «Что? Три целковых фунт!» А назначь тысячу — и конец изумлению, крику, столбняк, бесчувственность. «Как? Семь повешенных?!» — «Нет, милый, не семь, а семьсот!» — И уж тут непременно столбняк — семерых-то висящих еще можно представить себе, а попробуй-ка семьсот, даже семьдесят!

В три часа, — все время шел дождь, — выходили. Встретили Полевицкую с мужем. — «Ужасно ищут роль для себя в мистерии — так хотелось бы сыграть Богоматерь!» — О, Боже мой, Боже мой! Да, все это в теснейшей связи с большевизмом. В литературе, в театре он уже давным-давно . . .

Купил спичек, 6 рублей коробка, а месяц тому назад стоили полтинник.

Когда выходишь, идешь как при начале тяжелой болезни.

Сейчас (8 часов вечера, а по «советскому» уже половина одиннадцатого) закрывал, возвращаясь с прогулки, ставни: ломоть месяца, совсем золотой, чисто блестит сквозь молодую зелень дерева под окном на очистившемся западном небе, тонком и еще светлом.

Вышел в семь, поминутно дождь, похоже на осенний вечер. Прошел по Херсонской, потом завернул к Соборной площади. Еще светло, а уже все закрыто, все магазины, — тягостная, тревожащая душу пустота. Пока дошел до площади, дождь перестал, шел к собору под молодой зеленью уже зацветающих каштанов, по блестящему мокрому асфальту. Вспомнил мрачный вечер «первого мая». А в соборе венчали, пел женский хор. Вошел и, как всегда за последнее время, эта церковная красота, этот остров «старого» мира в море грязи, подлости и низости «нового», тронули необыкновенно. Какое вечернее небо в окнах! В алтаре, в глубине, окна уже лилово синели — любимое мое. Милые девичьи личики у певших в хоре, на головах белые покрывала с золотым крестиком на лбу, в руках ноты и золотые огоньки маленьких восковых свечей — все было так прелестно, что, слушая и глядя,

очень плакал. Шел домой, — чувство легкости, молодости. И наряду с этим — какая тоска, какая боль!

Когда вернулся, у нас во дворе, в квартире милиционера, играли на фортепьяно и танцевали. Встретил Марусю, — в сумерках, наряженная, с блестящими глазами, показалась очень хороша, — и на мгновение сердцем вспомнил то далекое, невозвратимое очарование, что испытывал когда-то в ранней молодости, вот в такой же апрельский вечер, в деревенском саду.

Марюса прошлым летом жила у нас на даче кухаркой и целый месяц скрывала в кухне и кормила моим хлебом большевика, своего любовника, и я знал это, знал. Вот какова моя кровожадность, и в этом все дело: быть такими же, как они, мы не можем. А раз не можем, конец нам!

Пишу при свечильнике, — масло и поплавок в банке. Темь, копать, порчу зрение.

В сущности, всем нам давно пора повеситься, — так мы забыты, замордованы, лишены всех прав и законов, живем в таком подлом рабстве, среди непрестанных заушений, издевательств!

Какое самообладание

У лошадей простого звания,

Не обращающих внимания

На трудности существования!

Милый мальчик, царство небесное ему! (Это шуточные стихи одного молодого поэта, студента, поступившего прошлой зимой в полицейские, — идейно, — и убитого большевиками.) — Да, мы теперь лошади очень простого звания.

22 апреля

Вспомнился мерзкий день с дождем, снегом, грязью, — Москва, прошлый год, конец марта. Через Кудринскую площадь тянутся бедные похороны — и вдруг, бешено стреляя мотоциклетом, вылетает с Никитской животное в кожаном картузе и кожаной куртке, на лету грозит, машет огромным револьвером и обдаёт грязью несущий гроб:

— Долой с дороги!

Несущие шарахаются в сторону и, спотыкаясь, тряся гроб, бегут со всех ног. А на углу стоит старуха и, согнув-

шись, плачет так горько, что я невольно приостанавливаюсь и начинаю утешать, успокаивать. Я бормочу: — «Ну будет, будет, Бог с тобой!» — спрашиваю: — «Родня, верно, покойник-то?» А старуха хочет передохнуть, одолеть слезы и наконец с трудом выговаривает:

— Нет... Чужой... Завидую...

И еще вспомнилось. Москва, конец марта позапрошлого года. Большой, толстый князь Трубецкой кричит, театрально сжимая свои маленькие кулачки:

— Помните, господа: гусский сапог безжалостно раздавит нежные гостки гусской свободы! Все на защиту ее!

Устами князя говорили тогда сотни тысяч уст. Нечего сказать, нашли для кого защищать «русскую свободу!»

Зимой 18 года те же сотни тысяч возложили все свои упования на спасение (только уже не русской свободы) именно через немцев. Вся Москва бредила их приходом.

Понедельник, газет нет, отдых в моем помешательстве (длящемся с самого начала войны) на чтении их. Зачем я над собой зверствую, рву себе сердце этим чтением?

На редкость твердо уверены все эти Пешехоновы, что только им принадлежит решение российской судьбы. И когда же? Когда они должны были бы в тартары провалиться хотя бы от одного стыда за все то, что они явили на диво всему миру за свое шестимесячное царствование в 17 году.

Совершенно нестерпим большевистский жаргон. А каков был вообще язык наших левых? «С цинизмом, доходящим до грации... Нынче брюнет, завтра блондин... Чтение в сердцах... Учинить допрос с пристрастием... Или — или: третьего не дано... Сделать надлежащие выводы... Кому сие ведать надлежит... Вариться в собственном соку... Ловкость рук... Нововременские молодцы...» А это употребление с какой-то якобы удивительнейшей иронией (неизвестно над чем и над кем) высокого стиля? Ведь даже у Короленко (особенно в письмах) это на каждом шагу. Непременно не лошадь, а Россинант, вместо «я сел писать» — «я оседлал своего Пегаса», жандар-

мы — «мундиры небесного цвета». Кстати о Короленко. Летом 17 года какую громовую статью напечатал он в «Русских Ведомостях» в защиту Раковского!

По вечерам жутко мистически. Еще светло, а часы показывают что-то нелепое, ночное. Фонарей не зажигают. Но на всяких «правительственных» учреждениях, на чрезвычайках, на театрах и клубах «имени Троцкого», «имени Свердлова», «имени Ленина» прозрачно горят, как какие-то медузы, стеклянные розовые звезды. И по странно пустым, еще светлым улицам, на автомобилях, на лихачах, — очень часто с разряженными девками, — мчатся в эти клубы и театры (глядеть на своих крепостных актеров) всякая красная аристократия: матросы с огромными браунингами на поясе, карманные воры, уголовные злодеи и какие-то бритые щеголи во френчах, в развратнейших галифе, в франтовских сапогах непременно при шпорах, все с золотыми зубами и большими, темными, кокаинистическими глазами... Но жутко и днем. Весь огромный город не живет, сидит по домам, выходит на улицу мало. Город чувствует себя завоеванным, и завоеванным как будто каким-то особым народом, который кажется гораздо более страшным, чем, я думаю, казались нашим предкам печенеги. А завоеватель шатается, торгует с лотков, плюет семечками, «кроет матом». По Дерибасовской или движется огромная толпа, сопровождающая для развлечения гроб какого-нибудь жулика, выдаваемого непременно за «павшего борца» (лежит в красном гробу, а впереди оркестры и сотни красных и черных знамен), или чернеют кучки играющих на гармоньях, пляшущих и вскрикивающих:

Эй, яблочко,

Куда котисься!

Вообще, как только город становится «красным», тотчас резко меняется толпа, наполняющая улицы. Совершается некий подбор лиц, улица преобразается.

Как потрясал меня этот подбор в Москве! Из-за этого больше всего и уехал оттуда.

Теперь то же самое в Одессе — с самого того праздничного дня, когда в город вступила «революционно-народная

армия», и когда даже на извозчицких лошадах как жар горели красные банты и ленты.

На этих лицах прежде всего нет обыденности, простоты. Все они почти сплошь резко отталкивающие, пугающие злой тупостью, каким-то угрюмо-холуйским вызовом всему и всем.

И вот уже третий год идет нечто чудовищное. Третий год только низость, только грязь, только зверство. Ну, хоть бы на смех, на потеху что-нибудь уж не то что хорошее, а просто обыкновенное, что-нибудь просто другое!

«Нельзя огулом хаять народ!»

А «белых», конечно, можно.

Народу, революции все прощает — («все это только эксцессы»).

А у белых, у которых все отнято, поругано, изнасиловано, убито, — родина, родные колыбели и могилы, матери, отцы, сестры, — «эксцессы», конечно, быть не должно.

«Революция — стихия . . .»

Землетрясение, чума, холера тоже стихии. Однако никто не прославляет их, никто не канонизирует, с ними борются. А революцию всегда «углубляют».

«Народ, давший Пушкина, Толстого».

А белые не народ.

«Салтычиха, крепостники, зубры . . .»

Какая вековая низость — шулерничать этой Салтычихой, самой обыкновенной сумасшедшей. А декабристы, а знаменитый московский университет тридцатых и сороковых годов, завоеватели и колонизаторы Кавказа, все эти западники и славянофилы, деятели «эпохи великих реформ», «кающийся дворянин», первые народолюбцы, Государственная дума? А редакторы знаменитых журналов? А весь цвет русской литературы? А ее герои? Ни одна страна в мире не дала такого дворянства.

«Разложение белых . . .»

Какая чудовищная дерзость говорить это после того небывалого в мире «разложения», которое явил «красный» народ.

Впрочем, многое и от глупости. Толстой говорил, что девять десятых дур-

ных человеческих поступков объясняются исключительно глупостью.

— В моей молодости, — рассказывал он, — был у нас приятель, бедный человек, вдруг купивший однажды на последние гроши заводную металлическую канарейку. Мы голову сломали, ища объяснение этому нелепому поступку, пока не вспомнили, что приятель наш просто ужасно глуп.

23 апреля

Каждое утро делаю усилия одеваться спокойно, преодолевать нетерпение к газетам — и все напрасно. Напрасно старался и нынче. Холод, дождь, и все-таки побежал за этой мерзостью и опять истратил на них целых пять целковых. Что Петербург? Что ультиматум румынам? Ни о том, ни о другом, конечно, ни слова. Крупно: «Колчаку Волги не видать!» Затем: образовалось «Временное Рабоче-Крестьянское Правительство» Бессарабии, Нансен просит «Совет Четырех» о хлебе для России, где «ежемесячно умирают от голода и болезней сотни тысяч». Абрашка-Гармонист (Регинин из «Биржевки») продолжает забавлять красноармейцев: «Тут вскочил как ошарашенный Колчак и присел от перепуга на столчак», «в Париже баррикады, старый палач Клемансо в панике», болгарский коммунист Касанов «объявил войну Франции», — так буквально и сказано! — в одесский порт вчера пришло посыльное французское судно, а «блокада продолжается, французы останавливают даже парусники . . .» Все в городе диву даются, стараясь понять поведение французов, и все бегают на Николаевский бульвар смотреть на французский миноносец, сереющий вдаль на совершенно пустом море, и дрожат: как бы не ушел, избавь Бог! Все кажется, что есть хоть какая-то защита, что, в случае каких-нибудь уж слишком чрезмерных зверств над нами, миноносец может начать стрелять . . . что если он уйдет, уж всему конец, полный ужас, полная пустота мира . . .

Весь вечер сидел Волошин. Очень хвалил этого морского комиссара Немца, — «он видит и верит, что идет объединение и строительство России». Читал свои переводы из Верхарна. Опять думаю: Верхарн большой талант, но, прочитав десяток его стихов, начинаешь задыхаться от этого дьявольского однообразия приемов, диких преувеличений, сумасшедшего, «больше-

вистского» нажима на воображение читателя.

Русская литература развращена за последние десятилетия необыкновенно. Улица, толпа начала играть очень большую роль. Все — и литература особенно — выходит на улицу, связывается с нею и подпадает под ее влияние. И улица развращает, нервнрует уже хотя бы по одному тому, что она страшно неумеренна в своих хвалах, если ей угождают. В русской литературе теперь только «гении». Изумительный урожай! Гений Брюсов, гений Горький, гений Игорь Северянин, Блок, Белый . . . Как тут быть спокойным, когда так легко и быстро можно выскочить в гении? И всякий норочит плечом пробиться вперед, ошеломить, обратить на себя внимание.

Вот и Волошин. Позавчера он звал на Россию «Ангела Мщения», который должен был «в сердце девушки вложить восторг убийства и в душу детскую кровавые мечты». А вчера он был белогвардейцем, а нынче готов петь большевиков. Мне он пытался за последние дни вдолбить следующее: чем хуже, тем лучше, ибо есть девять серафимов, которые сходят на землю и входят в нас, дабы принять с нами распятие и горение, из коего возникают новые, прокаленные, просветленные лики. Я ему посоветовал выбрать для этих бесед кого-нибудь поглупее.

А. К. Толстой когда-то писал: «Когда я вспомню о красоте нашей истории до проклятых монголов, мне хочется броситься на землю и кататься отчаяния». В русской литературе еще вчера были Пушкины, Толстые, а теперь почти одни «проклятые монголы».

Ночь на 24 апреля.

Последний раз я был в Петербурге в начале апреля 17 года. В мире тогда уже произошло нечто невообразимое: брошена была на полный произвол судьбы — и не когда-нибудь, а во время величайшей мировой войны — величайшая на земле страна. Еще на три тысячи верст тянулись на западе окопы, но они уже стали простыми ямами: дело было кончено, и кончено такой цепухой, которой еще не бывало, ибо власть над этими тремя тысячами верст, над вооруженной ордой, в которую превращалась многомиллионная ар-

мия, уже переходила в руки «комиссаров» из журналистов вроде Соболя, Иорданского. Но не менее страшно было и на всем прочем пространстве России, где вдруг оборвалась громадная, веками налаженная жизнь и воцарилось какое-то недоуменное существование, беспричинная праздность и противоестественная свобода от всего, чем живо человеческое общество.

Я приехал в Петербург, вышел из вагона, пошел по вокзалу: здесь, в Петербурге, было как будто еще страшнее, чем в Москве, как будто еще больше народа, совершенно не знающего, что ему делать, и совершенно бессмысленно шатавшегося по всем вокзальным помещениям. Я вышел на крыльцо, чтобы взять извозчика: извозчик тоже не знал, что ему делать, — везти или не везти, — и не знал, какую назначить цену.

— В Европейскую, — сказал я.

Он подумал и ответил наугад:

— Двадцать целковых.

Цена была по тем временам еще совершенно нелепая. Но я согласился, сел и поехал — и не узнал Петербурга.

В Москве жизни уже не было, хотя и шла со стороны новых властителей сумасшедшая по своей bestолковости и горячке имитация какого-то будто бы нового строя, нового чина и даже парада жизни. То же, но еще в превосходной степени, было и в Петербурге. Непрерывно шли совещания, заседания, митинги, один за другим издавались воззвания, декреты, неистово работал знаменитый «прямой провод» — и кто только не кричал, не командовал тогда по этому проводу! — по Невскому то и дело проносились правительственные машины с красными флажками, грохотали переполненные грузовики. не в меру бойко и четко отбивали шаг какие-то отряды с красными знаменами и музыкой . . . Невский был затоплен серой толпой, солдатней в шинелях внакидку, неработающими рабочими, гулящей прислужгой и всякими ярыгами, торговавшими с лотков и папиросами, и красными бантами, и похабными карточками, и сластями, и всем. чего просишь. А на тротуарах был сор, шелуха подсолнухов, а на мостовой лежал навозный лед, были горбы и ухабы. И на полпути извозчик неожиданно сказал мне то, что тогда говорили уже многие мужики с бородами:

— Теперь народ, как скотина без

пастуха, все перегадит и самого себя погубит.

Я спросил:

— Так что же делать?

— Делать? — сказал он. — Делать теперь нечего. Теперь шабаш. Теперь правительству нету.

Я взглянул вокруг, на этот Петербург... «Правильно, шабаш». Но в глупине души я еще на что-то надеялся и в полное отсутствие правительства все-таки еще не совсем верил.

Не верить, однако, было нельзя.

Я в Петербурге почувствовал это особенно живо: в тысячелетнем и огромном доме нашем случилась великая смерть, и дом был теперь растрворен, раскрыт настежь и полон несметной праздной толпой, для которой уже не стало ничего святого и запретного ни в каком из его покоев. И среди этой толпы носились наследники покойника, шальные от забот, распоряжений, которых, однако, никто не слушал. Толпа шаталась из покоя в покой, из комнаты в комнату, ни на минуту не переставая грызть и жевать подсолнухи, пока еще только поглядывая, до поры до времени помалкивая. А наследники носились и без умолку говорили, всячески к ней подлаживались, уверяли ее и самих себя, что это именно она, державная толпа, навсегда разбила «коковы» в своем «священном гневе», и все старались внушить и себе и ей, что на самом-то деле они ничуть не наследники, а так только — временные распорядители, будто бы ею же самой на то уполномоченные.

Я видел Марсово Поле, на котором только что совершили, как некое традиционное жертвоприношение революции, комедию похорон будто бы павших за свободу героев. Что нужды, что это было, собственно, издевательство над мертвыми, что они были лишены честного христианского погребения, заколочены в гроба почему-то красные и противоестественно закопаны в самом центре города живых! Комедию проделали с полным легкомыслием и, оскорбив скромный прах никому не ведомых покойников высокопарным красноречием, из края в край изрыли и истоптали великолепную площадь, обезобразили ее буграми, натыкали на ней высоких голых шестов в длиннейших и узких черных тряпках и за чем-то огородили ее дощатыми заборами, на скорую руку сколоченными

и мерзкими не менее шестов своей дикарской простотой.

Я видел очень большое собрание на открытии выставки финских картин. До картин ли было нам тогда! Но вот оказалось, что до картин. Старались, чтобы народу на открытии было как можно больше, и собрался «весь Петербург» во главе с некоторыми новыми министрами, знаменитыми думскими депутатами, и все просто умоляли финнов послать к черту Россию и жить на собственной воле: не умею иначе определить тот восторг, с которым говорились речи финнам по поводу «зари свободы, засиявшей над Финляндией». И из окон того богатого особняка, в котором происходило все это и который стоял как раз возле Марсова Поля, я опять глядел на это страшное могильное позорище, в которое превратили его.

А затем я был еще на одном торжестве в честь все той же Финляндии, — на банкете в честь финнов, после открытия выставки. И, Бог мой, до чего ладно и многозначительно связалось все то, что я видел в Петербурге, с тем гомерическим безобразием, в которое вылился банкет! Собрались на него все те же — весь «цвет русской интеллигенции», то есть знаменитые художники, артисты, писатели, общественные деятели, новые министры и один высокий иностранный представитель, именно посол Франции. Но над всеми возобладал — поэт Маяковский. Я сидел с Горьким и финским художником Галленом. И начал Маяковский с того, как без всякого приглашения подошел к нам, вдвинул стул между нами и стал есть с наших тарелок и пить из наших бокалов. Галлен глядел на него во все глаза — так, как глядел бы он, вероятно, на лошадь, если бы ее, например, ввели в эту банкетную залу. Горький хохотал. Я отодвинулся. Маяковский это заметил.

— Вы меня очень ненавидите? — весело спросил он меня.

Я без всякого стеснения ответил, что нет: слишком было бы много чести ему. Он уже было раскрыл свой корытообразный рот, чтобы еще что-то спросить меня, но тут поднялся для официального тоста министр иностранных дел, и Маяковский кинулся к нему, к середине стола. А там он вскочил на стул и так похабно заорал что-то, что министр оцепенел. Через секунду, оправившись, он снова провозгласил:

«Господа!» Но Маяковский заорал пуще прежнего. И министр, сделав еще одну и столь же бесплодную попытку, развел руками и сел. Но только что он сел, как встал французский посол. Очевидно, он был вполне уверен, что уже перед ним-то русский хулиган не может не ступешаться. Не тут-то было! Маяковский мгновенно заглушил его еще более зычным ревом. Но мало того: к безмерному изумлению посла, вдруг пришла в дикое и бессмысленное неистовство вся зала: зараженные Маяковским, все ни с того ни с сего заорали и себе, стали бить сапогами в пол, кулаками по столу, стали хохотать, вить, визжать, хрюкать и — тушить электричество. И вдруг все покрыл истинно трагический вопль какого-то финского художника, похожего на бритого моржа. Уже хмельной и смертельно бледный, он, очевидно, потрясенный до глубины души этим излишеством свинства, и желая выразить свой протест против него, стал что есть силы и буквально со слезами кричать одно из немногих русских слов, ему известных:

— Много! Многоо! Многоо! Многооо!

И еще одно торжество случилось тогда в Петербурге — приезд Ленина. «Добро пожаловать!» — сказал ему Горький в своей газете. И он пожаловал — в качестве еще одного притязателя на наследство. Притязания его были весьма серьезны и откровенны. Однако его встретили на вокзале почетным караулом и музыкой и позволили затесаться в один из лучших петербургских домов, ничуть, конечно, ему не принадлежащий.

«Много»? Да как сказать? Ведь шел тогда у нас пир на весь мир, и трезвы-то на пиру были только Ленин и Маяковский.

Одноглазый Полифем, к которому попал Одиссей в своих странствиях, намеревался сожрать Одиссея. Ленин и Маяковский (которого еще в гимназии пророчески прозвали Идиотом Полифемовичем) были оба тоже довольно прожорливы и весьма сильные своим одноглазием. И тот и другой некоторое время казались всем только площадными шутами. Но недаром Маяковский назвался футуристом, то есть человеком будущего: полифемское будущее России принадлежало несомненно им, Маяковским, Лениным. Маяковский утробой почуял, во что вообще превратится вскоре русский пир тех дней и как великолепно заткнет рот всем про-

чим трибунам Ленин с балкона Кшесинской: еще великолепнее, чем сделал это он сам, на пиру в честь готовой послать нас к черту Финляндии!

В мире была тогда Пасха, весна, и удивительная весна, даже в Петербурге стояли такие прекрасные дни, каких не запомнишь. А надо всеми моими тогдашними чувствами преобладала безмерная печаль. Перед отъездом был я в Петропавловском соборе. Все было настужь — и крепостные ворота, и соборные двери. И всюду бродил праздный народ, поглядывая и поплеывая семечками. Походил и я по собору, посмотрел на царские гробницы, земным поклоном простился с ними, а выйдя на паперть, долго стоял в оцепенении: вся безграничная весенняя Россия развернулась перед моим умственным взглядом. Весна, пасхальные колокола звали к чувствам радостным, воскресным. Но зияла в мире необъятная могила. Смерть была в этой весне, последнее целование . . .

«Разочарования, — говорил Герцен, — мир не знал до великой французской революции, скепсис пришел вместе с республикой 1792 года».

Что до нас, то мы должны унести с собой в могилу разочарование величайшее в мире.

Перечитал написанное. Нет, вероятно, еще можно было спастись. Разврат тогда охватил еще только главным образом города. В деревне был еще некоторый разум, стыд. Вспомнил свои прежние записи, вынул и развернул: вот, например, 5 мая 1917 года:

Был на мельнице. Много мужиков, несколько баб. Громкий разговор под шум мельницы. Возле притолоки, прислонясь к ней и внимательно слушая Колю, наклонив ухо и глядя в землю стоит высокий мужик с опущенными плечами, с черной курчавой бородой и нежным румянцем, уходящим в волосы. Шапка надвинута на белый хрящ носа. Коля рассказывает, что солдаты никого не признают и уходят с фронта. Мужик вдруг встрепенулся и, уставившись в него черными блестящими глазами, яростно заговорил:

— Вот, вот! Вот они, сукины дети!

Кто их распустил? Кому они тут нужны? Их, сукиных детей, арестовать надо!

В это время, верхом на серой лошади, подъехал молодой солдат в хаки и стеганых штанах, напевая и насвистывая. Мужик кинулся на него:

— Вот он! Видишь, катается! Кто его пустил? Зачем его собирали, зачем его обржали?

Солдат слез, привязал лошадь и на раскоряченных ногах, с притворно беззаботным видом, вошел в мельницу.

— Что ж мало навоевал? — закричал за ним мужик. — Ты что ж, казенную шапку, казенные портки надел дома сидеть? (Солдат с неловкой улыбкой обернулся.) Ты бы уж лучше совсем туда не ездил, сволочь ты этакая! Возьму вот, сдери с тебя портки и сапоги да головой об стену! Рад, что начальства теперь у вас нету, подлец! Зачем тебя отец с матерью кормили?

Мужики подхватили, подняли общий негодующий крик. Солдат с неловкой усмешкой, стараясь быть презрительным, пожимал плечами.

24 апреля.

Вчера ночью выдумал прятать эти заметки так хорошо, что кажется сам черт не найдет. Впрочем, черт теперь мальчишка и щенок. Все-таки могут найти, и тогда несдобровать мне. В «Известиях» обо мне уже писали: «Давно пора обратить внимание на этого академика с лицом гоголевского сочельника, вспомнить, как он воспевал приход в Одессу французов!»

Посмотрел газеты. Все тот же балаган. «Бессарабское рабоче-крестьянское правительство опубликовало вчера манифест, объявляющий войну Румынии. Но это не хищническая война империалистов . . .» и т. д.

Статья Троцкого «о необходимости добить Колчака». Конечно, это первая необходимость и не только для Троцкого, но и для всех, которые ради гибели «проклятого прошлого» готовы на гибель хоть половины русского народа.

В Одессе народ очень ждал большевиков — «наши идут». Ждали и многие обыватели — надоела смена властей, уж хоть что-нибудь одно, да, вероятно, и жизнь дешевле будет. И ох как нарвались все! Ну, да ничего, привыкнут.

Как тот старик мужик, что купил себе на ярмарке очки такой силы, что у него от них слезы градом брызнули.

— Макар, да ты с ума сошел! Ведь ты ослепнешь, ведь они тебе совсем не по глазам!

— Кто, барин? Очки-то? Ничего, они оглядятся . . .

Волошин рассказывал, что председатель одесской чрезвычайки Северный (сын одесского доктора Юзефовича) говорил ему:

— Простить себе не могу, что упустил Колчака, который был у меня однажды в руках!

Более оскорбительного я за всю мою жизнь не слышал.

Дыбенко . . . Чехов однажды сказал мне:

— Вот чудесная фамилия для матроса: Кошкодавленко.

Дыбенко стоит Кошкодавленки.

О Коллонтай (рассказывал вчера Н. Н.):

— Я ее знаю очень хорошо. Была когда-то похожа на ангела. С утра надевала самое простое платье и скакала в рабочие трущобы — «на работу». А воротясь домой, брала ванну, надевала голубенькую рубашечку — и шмыг с коробкой конфет в кровать к подруге: «Ну давай, дружок, поболтаем теперь власть!»

Судебная и психиатрическая медицина давно знает и этот (ангелоподобный) тип среди прирожденных преступниц и проституток.

Из «Известий»:

«Крестьяне говорят: дайте нам коммуны, лишь бы избавьте нас от кадетов . . .»

У дверей «Политуправления» стоит огромный плакат. Краснорожая баба, с бешеным дикарским рылом, с яростно оскаленными зубами, с разбегу всадила вилы в зад убегающего генерала. Из зада хлещет кровь. Подпись:

— Не зарись, Деникин, на чужую землю!

«Не зарись» должно обозначать «не зарься».

По приказу самого Архангела Михаила никогда не приму большевистского

правописания. Уж хотя бы по одному тому, что никогда человеческая рука не писала ничего подобного тому, что пишется теперь по этому правописанию.

Подумать только: надо еще объяснять то тому, то другому, почему именно не пойду я служить в какой-нибудь Пролеткульт! Надо еще доказывать, что нельзя сидеть рядом с чрезвычайкой, где чуть не каждый час кому-нибудь проламывают голову, и просвещать насчет «последних достижений в инструментовке стиха» какую-нибудь хряпу с мокрыми от пота руками! Да поразит ее проказа до семьдесят седьмого колена, если она даже и «антерисуется» стихами!

Вообще теперь самое страшное, самое ужасное и позорное даже не сами ужасы и позоры, а то, что надо разяснять их, спорить о том, хороши они или дурны. Это ли не крайний ужас, что я должен доказывать, например, то, что лучше тысячу раз околеть с голodu, чем обучать эту хряпу ямба и хорям, дабы она могла воспевать, как ее сотоварищи грабят, бьют, насилюют, пакостят в церквах, вырезают ремни из офицерских спин, венчают с кобылами священников!

Кстати об одесской чрезвычайке. Там теперь новая манера пристреливать — над клозетной чашкой.

А у «председателя» этой чрезвычайки, у Северного, «кристальная душа», по словам Волошина, — познакомился с ним Волошин, — всего несколько дней тому назад, — «в гостиной одной хорошенькой женщины».

Анюта говорит:

— Пригнали красноармейцев из России.

Знаю, уже некоторых видел. Нынче встретил опять одного — толстомордого, короткононого, у которого при разговоре поднимается левый угол губы. Страшный тип. Я был над спуском в порт в конце Торговой, он лежал с другим солдатом на ограде, с обезьяньей быстротой щелкал подсолнухами, исподлобья поглядывая на меня. Зачем я, несчастный, хожу туда? Смотреть на пустой рейд, на море, все та же надежда на спасение с той стороны!

Кончил воспоминания Булгакова. Толстой говорил ему:

— Курсистки, читающие Горького и Андреева, искренно верят, что не могут постигнуть их глубины. . . Прочел пролог к «Анатэме» — полная бессмыслица. . . Что у них у всех в головах, у всех этих Брюсовых, Белых?

Чехов тоже не понимал, что. На людях говорил, что «чудесно», а дома хохотал: «Ах, такие сяки! Их бы в арестантские роты отдать!» И про Андреева: «прочитаю две страницы, — надо два часа гулять на свежем воздухе!»

Толстой говорил:

— Теперь успех в литературе достигается только глупостью и наглостью.

Он забыл помочь критиков.

Кто они, эти критики?

На врачебный консилиум зовут врачей, на юридическую консультацию — юристов, железнодорожный мост оценивают инженеры, дом — архитекторы, а вот художество всякий, кто хочет, люди, часто совершенно противоположные по натуре всякому художеству. И слушают только их. А отзыв Толстого в грош не ставится, — отзыв как раз тех, которые прежде всего обладают огромным критическим чутьем, ибо написание каждого слова в «Войне и мире» есть в то же самое время и строжайшее взвешивание, тончайшая оценка каждого слова.

Когда совсем падаешь духом от полной безнадежности, ловишь себя на сокровенной мечте, что все-таки настанет же когда-нибудь день отмщения и общего, всечеловеческого проклятия теперешним дням. Нельзя быть без этой надежды. Да, но во что можно верить теперь, когда раскрылась такая несказанно страшная правда о человеке?

Все будет забыто и даже прославлено! И прежде всего литература поможет, которая что угодно исказит, как это сделало, например, с французской революцией то вреднейшее на земле племя, что называется поэтами, в котором на одного истинного святого всегда приходится десять тысяч пустосвятов, выродков и шарлатанов.

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!

Да, мы надо всем, даже и над тем несказанным, что творится сейчас, мудрим, философствуем. Все-то у нас не

веревка, а «вервие», как у того крыловского мудреца, что полетел в яму, но и в яме продолжал свою элоквенцию. Ведь вот и до сих пор спорим, например, о Блоке: впрямь его ярыги, убившие уличную девку, суть апостолы или все-таки не совсем? Михрютка, дробящий дубиной венецианское зеркало, у нас непременно гунн, скиф, и мы вполне утешаемся, наклепив на него этот ярлык.

Вообще литературный подход к жизни просто отравил нас. Что, например, сделали мы с той громадной и разнообразнейшей жизнью, которой жила Россия последнее столетие? Разбили, разделили ее на десятилетия — двадцатые, тридцатые, сороковые, шестидесятые годы — и каждое десятилетие определили его литературным героем: Чацкий, Онегин, Печорин, Базаров. . . Это ли не курам на смех, особенно ежели вспомнить, что героям этим было одному «осьмнадцать» лет, другому девятнадцать, третьему самому старшему двадцать!

Газеты зовут в поход на Европу. Вспомнилось: осень 14 года, собрание московских интеллигентов в Юридическом обществе. Горький, зеленая от волнения, говорил речь:

— Я боюсь русской победы, того, что дикая Россия навалится стомилионным брюхом на Европу!

Теперь это брюхо большевицкое, и он уже не боится.

Рядом с этим есть в газетах и «предупреждение». «В связи с полным истощением топлива электричества скоро не будет». Итак, в один месяц все обработали: ни фабрик, ни железных дорог, ни трамваев, ни воды, ни хлеба, ни одежды — ничего!

Да, да — вот выйдут семь коров тощих и пожрут семь тучных, но сами от того не станут тучнее».

Сейчас (одиннадцатый час, ночь) открыл окно, выглянул на улицу: луна низко, за домами, нигде ни души и так тихо, что слышно, как где-то на мостовой грызет кость собака, — и откуда только могла она взять эту кость? Вот дожили, — даже кости дивисься!

Перечитываю «Обрыв». Длинно, но как умно, крепко. Все-таки делаю усилие, чтобы читать — так противны теперь эти Марки Волоховы. Сколько хавмов пошло от этого Марка! «Что же

это вы залезли в чужой сад и едите чужие яблоки?» — «А что это значит: чужой, чужие? И почему мне не есть, если хочется?» Марк истинно гениальное создание, и вот оно, изумительное дело художников: так чудесно схватывает, концентрирует и воплощает человек типическое, рассеянное в воздухе, что во сто крат усиливает его существование и влияние — и часто совершенно наперекор своей задаче. Хотел высмеять пережиток рыцарства — и сделал Дон Кихота, и уже не от жизни, а от этого несуществующего Дон Кихота начинают рождаться сотни живых Дон Кихотов. Хотел казнить марковщину — и наплодил тысячи Марков, которые плодились уже не от жизни, а от книги. — Вообще, как отделить реальное от того, что дает книга, театр, кинематограф? Очень многие живые участвовали в моей жизни и воздействовали на меня, вероятно, гораздо менее, чем герои Шекспира, Толстого. А в жизнь других входит Шерлок, в жизнь горничной — та, которую она видела в автомобиле на экране.

25 апреля

Вчера поздно вечером, вместе с «комиссаром» нашего дома, явились измерять в длину, ширину и высоту все наши комнаты «на предмет уплотнения пролетариатом». Все комнаты всего города измеряют, проклятые обезьяны, остервенело катающие чурбан! Я не проронил ни слова, молча лежал в диване, пока мерили у меня, но так взволновался от этого нового издевательства, что сердце стучало с перерывами и больно пульсировала жила на лбу. Да, это даром для сердца не пройдет. А какое оно было здоровое и насколько бы еще меня хватило, сколько бы я мог еще сделать!

«Комиссар» нашего дома сделался «комиссаром» только потому, что молже всех квартирантов и совсем простого звания. Принял комиссарский сан из страха; человек скромный, робкий и теперь дрожит при одном слове «революционный трибунал», бегаёт по всему дому, умоляя исполнять декреты, — умеют нагонять страх, ужас эти негодяи, сами всячески подчеркивают, афишируют свое зверство! А у меня совершенно ощутимая боль возле левого соска даже от одних таких слов, как «революционный трибунал». Почему комиссар, почему трибунал, а не просто суд? Все потому, что только

под защитой таких священно-революционных слов можно так смело шагать по колену в крови, что, благодаря им, даже наиболее разумные и пристойные революционеры, приходящие в негодование от обычного грабежа, воровства, убийства, отлично понимающие, что надо вязать, тащить в полицию босняка, который схватил за горло прохожего в обычное время, от восторга захлебываются перед этим босьяком, если он делает то же самое во время, называемое революционным, хотя ведь всегда имеет босьяк полнейшее право сказать, что он осуществляет «гнев низов, жертв социальной несправедливости».

Когда дописывал предыдущие слова — стук в парадную дверь, через секунду превратившийся в бешеный. Отворил — опять комиссар и толпа товарищей и красноармейцев. С поспешной грубостью требуют выдать лишние матрацы. Сказал, что лишних нет, — вошли, посмотрели и ушли. И опять омертвение головы, опять сердцебиение, дрожь в отвалившихся от бешенства, от обиды руках и ногах.

Внезапная музыка во дворе — бродячая немецкая гармония, еврей в шляпе и женщина. Играют польку, — и как все странно, некстати теперь!

День солнечный, почти такой же холодный, как вчера. Облака, но небо синее, дерево во дворе уже густое, темно-зеленое, яркое.

Во дворе, когда отбирали матрацы, кухарки кричали (про нас): «Ничего, ничего, хорошо, пускай поспят на дранках, на досках!»

Был В. Катаев (молодой писатель). Цинизм нынешних молодых людей прямо невероятен. Говорил: «За сто тысяч убью кого угодно. Я хочу хорошо есть, хочу иметь хорошую шляпу, отличные ботинки...»

Вышел с Катаевым, чтобы пройтись, и вдруг на минуту всем существом почувствовал очарование весны, чего в нынешнем году (в первый раз в жизни) не чувствовал совсем. Почувствовал, кроме того, какое-то внезапное расширение зрения, — и телесного, и духовного, — необыкновенную силу и ясность его. Необыкновенно коротка показалась Дерibasовская, необыкновенно близки самые дальние здания, замыкающие ее, а потом Екатеринбург-

ская, закутанный тряпками памятник, дом Левашова, где теперь чрезвычайка, и море — маленькое, плоское, все как на ладони. И с какой-то живостью, ясностью, с какой-то отрешенностью, в которой уже не было ни скорби, ни ужаса, а было только какое-то веселое отчаяние, вдруг осознал уж как будто совсем до конца все, что творится в Одессе и во всей России.

Когда выходили из дому, слышал, как дворник говорил кому-то:

— А эти коммунисты, какие постели ограбляют, одна последняя сволочь. Его самогоном надуют, дадут папирос, — он отца родного угробит!

Все так, но есть несомненно и помешательство. И все, что видел по пути, удивительно подтверждало это. И особенно то, на что (как нарочно) наткнулся на Пушкинской: от вокзала, навстречу мне, промчался бешеный автомобиль и в нем, среди кучи товарищей, совершенно бешеный студент с винтовой в руках: весь полет, расширенные глаза дико воззрились вперед, худ смертельно, черты лица до неправдоподобности тонки, остры, за плечами треплются концы красного башлыка... Вообще студентов видишь нередко: спешит куда-то, весь растерзан, в грязной ночной рубаше под старой распахнувшейся шинелью, на лохмотой голове слинявший картуз, на ногах сбитые башмаки, на плече висит вниз дулом винтовка на веревке... Впрочем, черт его знает — студент ли он на самом деле.

Да хорошо и все прочее. Случается, что, например, выходит из ворот бывшей Крымской гостиницы (против чрезвычайки) отряд солдат, а по мосту идут женщины: тогда весь отряд вдруг останавливается — и с хохотом мочится, оборотаясь к ним. А этот громадный плакат на чрезвычайке? Нарисованы ступени, на верхней — трон, от трона текут потоки крови. Подпись:

Мы кровью народной залитые
троны
Кровью наших врагов обагрим!

А на площади, возле Думы, еще и до сих пор бьют в глаза проклятым красным цветом первомайские трибуны. А дальше высится нечто непостижимое по своей гнусности, загадочности и сложности — нечто сбитое из досок, очевидно, по какому-то футуристическому рисунку и всячески размалеванное, целый дом какой-то, суживающийся кверху, с какими-то сквозными

воротами. А по Дерибасовской опять плакаты: два рабочих крутят пресс, а под прессом лежит раздавленный буржуй, изо рта которого и из зада лентами лезут золотые монеты. А толпа? Какая, прежде всего, грязь! Сколько старых, донельзя запачканных солдатских шинелей, сколько порыжевших обмоток на ногах и сальных картузов, которыми точно улицу подметали, на вшивых головах! И какой ужас берет, как подумаешь, сколько теперь народу ходит в одежде, содранной с убитых, с трупов!

А в красноармейцах главное — распущенность. В зубах папироска, глаза мутные, наглые, картуз на затылок, на лоб падает «шевелюр». Одеты в какую-то сборную рвань. Иногда мундир 70-х годов, иногда, ни с того ни с сего, красные рейтузы и при этом пехотная шинель и громадная старозаветная сабля.

Часовые сидят у входов реквизируемых домов в креслах в самых изломанных позах. Иногда сидит просто босая, на поясе браунинг, с одного боку висит немецкий тесак, с другого кинжал.

Чтобы топить водопровод, эти «строители новой жизни» распорядились ломать знаменитую одесскую эстакаду, тот многоверстный деревянный канал в порту, по которому шла ссыпка хлеба. И сами же жалуются в «Известиях»: «Эстакаду растаскивает кто попало!» Рубят, обрубают на топку и деревья — уже на многих улицах торчат в два ряда голые стволы. Красноармейцы, чтобы ставить самовары, отламывают от винтовок и колют на щепки приклады.

Возвратясь домой, пересмотрел давно валяющуюся у меня лубочную книжечку: «Библиотека трудового народа. Песни народного гнева. Одесса, 1917 г.» Да, это и тут есть:

Кровью народной залитые троны
Мы кровью наших врагов обогрим,
Месть беспощадная всем

супостатам.

Смерть паразитам трудящихся
масс!

Есть «Рабочая Марсельеза», «Варшавянка», «Интернационал», «Народовольческий гимн», «Красное знамя»... И все злобно, кроваво донельзя, лживо до тошноты, плоско, убого до невероятия:

— Мы пошлем всем злодеям
проклятье,

На борьбу всех борцов позовем...

— Вихри враждебные веют над нами...

Но мы поднимем гордо и смело

Зная борьбы за рабочее дело...

— Мы в плуги меч перекуем

И новой жизнью зажжем...

Боже мой, что это вообще было! Какое страшное противоестественное дело делалось над целыми поколениями мальчиков и девочек, долбивших Иванюкова и Маркса, возившихся с тайными типографиями, со сборами на «красный крест» и с «литературой», бесстыдно притворявшихся, что они умирают от любви к Пахомам и к Сидорам, и поминутно разжигавших в себе ненависть к помещику, к фабриканту, к обывателю, ко всем этим «кровопийцам, паукам, угнетателям, деспотам, сатрапам, мещанам, обскурантам, рыцарям тьмы и насилия!»

Да, повальное сумасшествие. Что в голове у народа? На днях шел по Елизаветинской. Сидят часовые возле подъезда реквизируемого дома, играют затворами винтовок и один говорит другому:

— А Петербург весь под стеклянным потолком будет... Так что ни снег ни дождь, ни что...

Недавно встретил на улице проф. Щепкина, «комиссара народного просвещения». Двигается медленно, с идиотической тупостью глядя вперед. На плечах насквозь пропыленная тальма с громадным сальным пятном на спине. Шляпа тоже такая, что смотреть тошно. Грязнейший бумажный воротничок, подпирающий сзади целый вулкан, гнойный фурункул, и толстый старый галстук, выкрашенный красной масляной краской.

Рассказывают, что Фельдман говорил речь каким-то крестьянским «депутатам»:

— Товарищи, скоро во всем свете будет власть советов!

И вдруг голос из толпы депутатов:

— Сего не буде*!

Фельдман яростно:

— Это почему?

— Жидив не хвате!

Ничего, не беспокойтесь: хватит Щепкиных

26 апреля.

Проснулся в шесть от сердцебиения. Идя за газетами, слышал проклятия какой-то бабы: в корзине у нее небольшая рыба — 80 рублей!

В газетах из Москвы: погрузка дров на всех ж.-д. упала на 50 процентов... Наркомпрос решил реставрировать памятники искусства... Индия охвачена большевизмом...

«Известия» завели почтовый ящик:

— Гражданину Губерману. Так война с колчаковской и денкинской сволочью, по-вашему, братоубийственная?

— Товарищу А. Хвалы России, хотя бы и советской, не имеют ничего общего с марксистским подходом к вопросу.

— Гражданке Гликман. Вы все еще не уяснили себе, что тот строй, при котором за деньги можно иметь все, но без денег погибать с голоду, навсегда отжил свой век?

Ходили на Николаевский бульвар. Весенние белые облака, огромная и ясная картина — пустой рейд, прелестные краски дальних берегов, крепкая синяя зыбь моря... Встретили Осиповича и Юшкевича. Опять все то же: делают безразличное лицо и быстро вполголоса: «Тирасполь взят немцами и румынами, — теперь это уже факт. Взят и Петербург...»

В три часа вошла с испуганным лицом Анюта:

— Правда, что немцы входят в Одессу? Весь народ говорит, будто всю Одессу окружили. Они сами завели большевиков, теперь им приказали их уничтожить, и за это на 15 лет отдают им нас. Вот бы хорошо!

Что такое? Вероятно, дикий вздор, но все-таки взволновался до дрожи и холода рук. Чтобы успокоиться, стал читать рукопись Овсяннико-Куликовского, его воспоминания о Драгоманове, Зибере, П. Лаврове. Пишет: «Творец из лучшего эфира создал живые души их...» О Господи! И это на старости лет!

Потом читал Ренана. «L'homme fut des milliers d'années un fou, après avoir été des milliers d'années un animal».

27 апреля

«Известия»: «Контрреволюционеры сидят и думают великую думу, как бы запутать пролетариев коммунистов... узкие лбы их покрылись морщинами, рты раскрылись, из-под толстых отвис-

лых губ этих Федул Федулычей желтеют зубы... Комики, ей-Богу, или просто жулье кабацкое, шантажное...»

В «Голосе Красноармейца» жирно:

«Тов. Подвойский отдал приказ о наступлении на Румынию... Румынские разбойники с своим кровавым королем схватили за горло молодую советскую республику Венгрии, чтобы потушить революцию, охватившую всю Европу».

Резолюция из Вознесенска:

«Мы, красноармейцы-вознесенцы, борясь за освобождение всего мира, протестуем против наглого антисемитизма!»

В Киеве «приступлено к уничтожению памятника Александра Второго». Знакомое занятие. Ведь еще с марта 17 года начали сдирать орлы, гербы...

Опять слух, что Петербург взят, Будапешт тоже. Для слухов выработались уже трафаретные приемы: «Приехал один знакомый моего знакомого...»

Огромная новость. Пришли взволнованные Радецкий и Койранский.

— На Одессу идет Григорьев!

— Какой Григорьев?

— Тот самый, что прогнал союзников из Одессы. Теперь соединился с Махно и бьет большевиков. А на Киев идет Зеленый. «Бей жидов и коммунистов, за веру и отечество!» Я сам, так сказать, жид, но пусть хоть сам дьявол придет. Мне вчера С. говорит, что он демократ, что он против всяких интервенций, вмешательств. А я ему: а что бы вы сказали против них, если бы шел всероссийский еврейский погром?

28 апреля

Так и есть!

«Во избежание циркулирующих в городе слухов, штаб третьей украинской советской армии объявляет, что атаман Григорьев, собрав кучку приверженцев, провозгласил себя гетманом и объявил войну советскому правительству...»

Затем приказ Антонова-Овсеенко:

«Белогвардейская сволочь стремится расстроить красную силу, натравить ее на мирное население... Подлый предатель родины, подлый слуга врагов наших Каин должен быть уничтожен, как бешеная собака... раздавлен и вбит, как черви, в землю, которую он опоганил...»

Затем воззвание членов военно-революционного совета:

«Всем, всем, всем! Дети трудового народа социалистической Украины! Авантюрист, пьяница, прислужник своры старого режима, попов и помещиков, маменькиных сынков, Григорьев, открыл свою настоящую личину, окружил себя стайей черных воронов с засаленными рожами... Проповедует о том, якобы большевики желают запречь в коммуны... меж тем как коммунисты никого не заставляют вступать, а только разъясняют, как всякий тоже знает, что не дело большевиков распинать Христа, который учил тому же и, будучи Спасителем, восстал против богачей... Такая нелепая провокация, сочиненная в пьяном виде, конечно, не могла подействовать... Ура, долой авантюриста, который вздумал выкупаться в крови проголодавшихся рабочих... Мы должны изловить сутенеров и предателей и предать их в руки рабочих и крестьян...» Подписано так: Товарищи Дятко, Голубенко, Щаденко». — Это вроде того, как если бы я подписался: господин Бунин.

Вообще утро большого волнения. Был Юшкевич. Очень боится еврейского погрома. Юдофобство в городе лютое.

Да, еще — «из местной жизни»: «Вчера по постановлению военно-революционного трибунала расстреляно 18 контрреволюционеров».

Паника и отчаянные зверства. «Вся буржуазия берется на учет». Как это понимать?

Выходил на закате, встретил Розенталя, говорит, на Соборной площади кто-то бросил бомбу. Прошел с ним, зашел к Л. Там из окон весенний розовый запад среди бледно-синих туч. Потом, уже в сумерках, на Дерибасовской. На одной стороне очень много народа, на другой пусто, злые крики солдат: «Товарищи, на другую сторону!» Бешено промчалось несколько автомобилей, тревожный рожок кареты скорой помощи, пронеслись два верховых, а за ними с лаем собака... Дальше совсем не пускают.

Фома сообщил, что послезавтра будет «чистое светопредставление»: «День мирного восстания», грабеж всех буржуев поголовно.

30 апреля.

Ужасное утро! Пошел к Д., он в двух штанах, в двух рубашках, говорит, что «день мирного восстания» уже начался, грабеж уже идет; боится, что отнимут вторую пару штанов.

Вышли вместе. По Дерибасовской не сется отряд всадников, среди них автомобиль, с воем, переходящим в самую высокую ноту. Встретили Овсяннико-Куликовского. Говорит: «Душу раздирающие слухи, всю ночь шли расстрелы, сейчас грабят».

Три часа. Опять ходил в город: «день мирного восстания» внезапно отменен. Будто бы рабочие восстали. Начали было грабить и их, а у них самих куча награбленного. Встречали выстрелами, кипятком, камнями.

Ужасная гроза, град, ливень, отстаивался под воротами. С ревом неслись грузовики, полные товарищей с винтовками. Под ворота вошли два солдата. Один большой, гнутый, картуз в затылок, лопает колбасу, отрывая куски прямо зубами, а левой рукой похлопывает себя ниже живота:

— Вот она, моя коммуна-то! Я так прямо и сказал ему: не кричите, ваше иерусалимское благородие, она у меня под пузом висит...

1 мая

Очень встревожены, и не только в Одессе, но и в Киеве, и в самой Москве. Дошло дело даже до воззвания «Чрезвычайного уполномоченного совета обороны Л. Каменева: Всем, всем, всем! Еще одно усилие и рабоче-крестьянская власть завоеует мир. В этот момент предатель Григорьев хочет всадить рабоче-крестьянской власти нож в спину...»

Приходил «комиссар» дома проверить, сколько мне лет, всех буржуев хотят гнать в «тыловое ополчение».

Весь день холодный дождь. Вечером зашел к С. Юшкевичу: устраивается при каком-то «военном отделе» театр для товарищей, и он, боясь входить единолично в совет этого театра, втягивает в него и меня. Сумасшедший! Возвращался под дождем, по темному и мрачному городу. Кое-где девки, мальчишки красноармейцы, хохот, щелканье орехов...

2 мая

Еврейский погром на Большом Фон-

тане, учиненный одесскими красноармейцами.

Были Овсяннико-Куликовский и писатель Кипен. Рассказывали подробно. На Б. Фонтане убито 14 комиссаров и человек 30 простых евреев. Разгромлено много лавочек. Врывались ночью, стаскивали с кроватей и убивали кого попало. Люди бежали в степь, бросались в море, а за ними гонялись и стреляли, — шла настоящая охота. Кипен спасся случайно, — ночевал, по счастью, не дома, а в санатории «Белый цветок». На рассвете туда нагрязнул отряд красноармейцев. — «Есть тут жидаи?» — спрашивают у сторожа. — «Нет, нету». — «Побожись!» — Сторож побожился, и красноармейцы поехали дальше.

Убит Моисей Гутман, биндюжник, прошлой осенью перевозивший нас с дачи, очень милый человек.

Был возле Думы. Очень холодно, серо, пустое море, мертвый порт, далеко на рейде французский миноносец, очень маленький на вид, какой-то жалкий в своем одиночестве, в своей нелепости, — черт знает, зачем французы шатаются сюда, чего выжидают, что затевают? Возле пушки кучка народа, одни возмущались «днем мирного восстания», другие горячо, нагло поучали и распекали их.

Шел и думал, вернее, чувствовал: если бы теперь и удалось вырваться куда-нибудь, в Италию, например, во Францию, везде было бы противно, — опротивел человек! Жизнь заставила так остро почувствовать, так остро и внимательно разглядеть его, его душу, его мерзкое тело. Что наши прежние глаза, — как мало они видели, даже мои!

Сейчас во дворе ночь, темь, льет дождь, нигде ни души. Вся Херсонщина в осадном положении, выходить, как стемнеет, не смеем. Пишу, сидя как будто в каком-то сказочном подзелье: вся комната дрожит сумраком и вонючей копотью ночника. А на столе новое воззвание: «Товарищи, образумьтесь! Мы несем вам истинный свет социализма! Покиньте пьяные банды, окончательно победите паразитов! Бросьте душителя народных масс, бывшего акцизного чиновника Григорьева! Он страдает запоем и имеет дом в Елизаветграде!»

3 мая

Борешься с этим, стараешься выйти из этого напряжения, нетерпеливого ожидания хоть какой-нибудь развязки — и никак не можешь. Особенно ужасна жажда, чтобы как можно скорее летели дни.

Резолюция полка имени какого-то Старостина:

«Заявляем, что все как один пойдем в бой против нового некоронованного палача Григорьева, который снова желает, подобно пауку, сосать для пьянства и разгула все наши силы!»

Арестован одесский комитет «Русского народно-государственного союза» (16 человек, среди них какой-то профессор) и вчера ночью весь расстрелян, «ввиду явной активной деятельности, угрожающей мирному спокойствию населения».

О спокойствии населения, видите ли, заботятся!

Были у Варшавских. Возвращались по темному городу; в улицах, полных сумраком, не так, как днем или при свете, а гораздо явственнее сыплется стук шагов.

4 мая

Погода улучшается. Двор под синим небом, с праздничной весенней зеленью деревьев, с ярко белеющей за ней стеной дома, испещренной пятнами тени. Въехал во двор красноармеец, привязал к дереву своего жеребца, черного, с волнистым хвостом до земли, с полосами блеска на крупе, на плечах — стало еще лучше. Евгений играет в столовой на пианино. Боже мой, как больно!

Были у В. А. Розенберга. Служит в кооперативе, живет в одной комнате вместе с женой; пили жидкий чай с мелким сорным изюмом, при жалкой лампочке... Вот тебе и редактор, хозяин «Русских Ведомостей»! Со страстью говорил «об ужасах царской цензуры».

5 мая

Видел себя во сне в море, бледно-молочной, голубой ночью, видел бледно-розовые огни какого-то парохода и говорил себе, что надо запомнить, что они бледно-розовые. К чему теперь все это?

Аншлаг «Голоса Красноармейца»: «Смерть погромщикам! Враги народа хотят потопить революцию в еврейской крови, хотят, чтобы господа жили в писаных хоромах, а мужики в хлеву,

на гнойниках с коровами, гнули свои спинушки для дармоедов-лежебоков...»

Во дворе у нас женится милиционер. Венчаться поехал в карете. Для пира привезли 40 бутылок вина, а вино еще месяца два тому назад стоило за бутылку рублей 25. Сколько же оно стоит теперь, когда оно запрещено и его можно доставать только тайком?

Статья Подвойского в киевских «Известиях»: «Если черным шакалам, слетевшимся в Румынии, удастся выполнить свои замыслы, то решится судьба мировой революции... Черная банда негодяев... Хищные когти румынского короля и помещиков...» Затем призыв Раковского, где, между прочим, есть такое место: «К сожалению, украинская деревня осталась такой же, какой ее описывал Гоголь — невежественной, антисемитской, безграмотной... Среди комиссаров взяточничество, поборы, пьянство, нарушение на каждом шагу всех основ права... Советские работники выигрывают и проигрывают в карты тысячи, пьянством поддерживают винокурение...»

А вот новое произведение Горького, его речь, сказанная им на днях в Москве на съезде Третьего Интернационала. Заглавие: «День великой лжи». Содержание:

«Вчера был день великой лжи. Последний день ее власти.

Издравле, точно пауки, люди заботливо плели крепкую паутину осторожной мещанской жизни, все более пропитывая ее ложью и жадностью. Незыблемой истиной считалась циничная ложь: человек должен питаться плотью и кровью ближнего.

И вот вчера дошли по этому пути до безумия общеевропейской войны, кошмарное зарево ее сразу осветило всю безобразную наготу древней лжи.

Силою взрыва терпения народов изгнившая жизнь разрушена и ее уже нельзя восстановить в старых формах.

Слишком светел день сегодня, и оттого так густы тени!

Сегодня началась великая работа освобождения людей из крепкой, железной паутины прошлого, работа страшная и трудная, как родовые муки...

Случилось так, что впереди народов идут на решительный бой русские люди. Еще вчера весь мир считал их полудикарями, а сегодня они идут к победе

или на смерть пламенно и мужественно, как старые, привычные бойцы.

То, что творится сейчас на Руси, должно быть понято, как гигантская попытка претворить в жизнь, в дело великие идеи и слова, сказанные учителями человечества, мудрецами Европы.

И если честные русские революционеры, окруженные врагами, измученные голодом, будут побеждены, то последствия этого страшного несчастья тяжко лягут на плечи всех революционеров Европы, всего ее рабочего класса.

Но честное сердце не колеблется, честная мысль чужда соблазну уступок, честная рука не устанет работать — русский рабочий верит, что его братья в Европе не дадут задушить Россию, не позволят воскреснуть всему, что издыхает, исчезает — и исчезнет!»

А вот вырезка из горьковской «Новой Жизни» от 6 февраля прошлого года:

«Перед нами компания авантюристов, которые, ради собственных интересов, ради промедления еще нескольких недель агонии своего гибнущего самодержавия, готовы на самое постыдное предательство интересов социализма, интересов российского пролетариата, именем которого они бесчинствуют на вакантном троне Романовых!»

Только тем и живем, что тайком собираем и передаем друг другу вести. Для нас главный притон этой контрразведки на Херсонской улице, у Щ. Туда приносят сообщения, получаемые Бупом (бюро украинской печати). Вчера в Бупе будто бы была зашифрованная телеграмма: Петербург взят англичанами. Григорьев окружает Одессу, издал Универсал, которым признает советы, но такие, чтобы «те, что распяли Христа, давали не более четырех процентов». Сообщение с Киевом будто бы совершенно прервано, так как мужики, тысячами идущие за лозунгами Григорьева, на десятки верст разрушают железную дорогу.

Плохо верю в их «идейность». Вероятно, впоследствии это будет рассматриваться как «борьба народа с большевиками» и ставиться на один уровень с добровольчеством. Ужасно. Конечно коммунизм, социализм для мужиков как для коровы: седло, приводит их в

бешенство. А все-таки дело заключается больше всего в «воровском шатании», столь излюбленном Русью с незапамятных времен, в охоте к разбойничьей вольной жизни, которой снова охвачены теперь сотни тысяч отбившихся, отвыкших от дому, от работы и всячески развращенных людей. Чуть не десять лет тому назад поставил я эпиграфом к своим рассказам о народе, об его душе слова Ив. Аксакова: «Не прошла еще древняя Русь!» Правильно поставил. Ключевский отмечает чрезвычайную «повторяемость» русской истории. К великому несчастью, на эту «повторяемость» никто и ухом не вел. «Освободительное движение» творилось с легкомыслием изумительным, с непременным, обязательным оптимизмом, коему оттенки полагались разные: для «борцов» и реалистической народнической литературы один, для прочих — другой, с некоей мистикой. И все «надевали лавровые венки на шивые головы», по выражению Достоевского. И тысячу раз прав был Герцен:

«Мы глубоко распались с существующим... Мы блажим, не хотим знать действительности, мы постоянно раздражаем себя мечтами... Мы терпим наказание людей, выходящих из современности страны... Беда наша в расторжении жизни теоретической и практической...»

Впрочем, многим было (и есть) просто невыгодно не распадаться с существующим. И «молодежь» и «вшивые головы» нужны были, как пушечное мясо. Кадили молодежи, благо она горяча, кадили мужику, благо он темен и «шаток». Разве многие не знали, что революция есть только кровавая игра в переносу местами, всегда кончающаяся только тем, что народ, даже если ему и удалось некоторое время посидеть, попить и побушевать на господском месте, всегда в конце концов попадает из огня да в полымя? Главари наиболее умными и хитрыми вполне сознательно приготовлена была издевательская вывеска: «Свобода, братство, равенство, социализм, коммунизм!» И вывеска эта еще долго будет висеть — пока совсем крепко не усядутся они на шею народа. Конечно, тысячи мальчиков и девочек кричали довольно простоудшно:

За народ, народ, народ,
За святой девиз вперед!

Конечно, большинство выводило ба- сами довольно бессмысленно:

И утес великан
Все, что думал Степан,
Все тому смельчаку перескажет...

«Ведь что ж было? — говорит Достоевский. — Была самая невинная, милая либеральная болтовня... Нас пленял не социализм, а чувствительная сторона социализма...» Но ведь было и подполье, а в этом подполье кое-кто отлично знал, к чему именно он направляет свои стопы, и некоторые, весьма для него удобные, свойства русского народа. И Степану цену знал.

«Среди духовной тьмы молодого, неуравновешенного народа, как всюду недовольного, особенно легко возникали смуты, колебания, шаткость... И вот они опять возникли в огромном размере... Дух материальности, несмысленной воли, грубого своекорыстия повеял гибелью на Русь... У добрых отнялись руки, у злых развязались на всякое зло... Толпы отверженных, подонков общества потянулись на опустошение своего же дома под знаменами разноплеменных вожаков, самозванцев, лжецарей, атаманов из вырожденцев, преступников, честолюбцев...»

Это — из Соловьева, о Смутном времени. А вот из Костомарова, о Стеньке Разине:

«Народ пошел за Стенькой обманываемый, разжигаемый, многого не понимая толком... Были посулы, привады, а уж возле них всегда капкан... Поднялись все азиаты, все язычество, зыряне, мордва, чуваша, черемисы, башкиры, которые бунтовались и резались, сами не зная за что... Шли «преlestные письма» Стеньки — «иду на бояр, приказных и всякую власть, учиню равенство...» Дозволен был полный грабеж... Стенька, его присные, его воинство были пьяны от вина и крови... возненавидели законы, обществу, религию, все, что стесняло личные побуждения... дышали мстостью и завистью... составились из беглых воров, лентяев... Всей этой сволочи и черни Стенька обещал во всем полную волю, а на деле забрал в калугу, в полное рабство, малейшее послушание наказывал смертью истязательной, всех величал братьями, а все падали ниц перед ним...»

Не верится, чтобы Ленины не знали и не учитывали всего этого!

«Красноармейская Звезда»: «Величайший из мошенников и ублюдков буржуазии, Вильсон, требует наступления на север России. Наш ответ: Лапы прочь! Как один человек, все мы пойдем доказать изумленному миру... Только лакеи душой останутся за бортом нашего якоря спасения...»

Радостные слухи — Николаев взят, Григорьев близко...

8 мая

В «Одесском Коммунисте» целая поэма о Григорьеве:

Ночь. Устав, пан Гетман спит,
Спит и — видит «скверный» сон:
Перед ним с ружьем стоит
Пролетарий. Грозен он!
Жутко... Взгляд его горит,
И, немного погодя,
Пролетарий говорит,
В ужас «пана» приводя:
— Знай, изменник и подлец,
Руки вздумавший нагреть,
Желтый гетманский венец
Я не дам тебе надеть!

Ходил бриться, стоял от дождя под навесом на Екатерининской. Рядом со мной стоял и ел редьку один из тех, что «крепко держит в мозолистых руках красное знамя всемирной коммунистической революции», мужик из-под Одессы, и жаловался, что хлебá хороши, да сеяли мало, боялись большевиков: придут, сволочь, и заберут! Это «придут, сволочь, и заберут» он повторил раз двадцать. В конце Елизаветинской — человек сто солдат, выстроенных на панели, с ружьями, с пулеметами. Повернул на Херсонскую — там, на углу Преображенской, то же самое... В городе слухи: «Произошел переворот!» Просто тошнит от этой бесконечной брехни.

После обеда гуляли. Одесса надоела невыразимо, тоска просто пожирает меня. И никакими силами и никуда не выскочишь отсюда! По горизонтам стояли мрачные синие тучи. Из окон прекрасного дома возле чрезвычайки, против Екатерины, неслась какая-то дикая музыка, пляска, раздавался отчаянный крик пляшущего, которого точно резали: а-а! — крик пьяного дикаря. И все дома вокруг горят электричеством, все заняты.

Вечер. И свету не смей зажигать и

выходить не смей! Ах, как ужасны эти вечера!

Из «Одесского Коммуниста»:

«Очаковский гарнизон, приняв во внимание, что контрреволюция не спит, в связи с выступлением зазнавшегося пьяницы Григорьева, подняла свою голову до полного обнажения, пускает яд в сердце крестьянина и рабочего, натравливает нацию на нацию, а именно: пьяница Григорьев провозгласил лозунг: «Бей жидов, спасай Украину», что несет страшный вред Красной Армии и гибель социальной Революции! А посему мы постановили: послать проклятие пьянице Григорьеву и его друзьям националистам!»

И далее: «Обсудив вопрос о заключенных белогвардейцах, требуем немедленного расстрела таковых, ибо они продолжают проделывать свои темные делишки, проливают напрасно кровь, которой и так много пролито, благодаря капиталистам и их прихвостням!»

Рядом с этим стихи:

Коммунист рабочий
Знает сила в чем:
В нем любовь к работе
Бьет живым ключом...
Он не знает наций,
Хлещет черных сук.
Для организаций
Отдает досуг!

6 мая

Иоанн, тамбовский мужик Иван, затворник и святой, живший так недавно, — в прошлом столетии, — молясь на икону Святителя Дмитрия Ростовского, славного и великого епископа, говорил ему:

— Митюшка, милый!

Был же Иоанн ростом высок и сутуловат, лицом смугл, со сквозной бородой, с длинными и редкими черными волосами. Сочинял простодушно-нежные стихи:

Где пришел еси, молитву сотвори,
Без нее дверей не отвори,
Аще не видишь в дверях ключа,
Воротись, друг мой, скорей, не
стуча...

Куда девалось все это, что со всем этим стаслось?

«Святешее из званий», звание «человек», опозорено как никогда. Опозорен и русский человек, — и что бы это

было бы, куда бы мы глаза девали, если бы не оказалось «ледяных походов»! Уж на что страшная старая русская летопись: непрерывная крамола, ненасытное честолюбие, лютая «хотя» власти, обманные целования креста, бегство в Литву, в Крым «для подъема поганых на свой же собственный отчий дом», рабские послания друг к другу («бью тебе челом до земли, верный

холоп твой») с единственной целью одурачить, провести, злые и бесстыдные укоры от брата к брату... и все-таки иные, совсем не нынешние слова:

«Срам и позор тебе: хочешь оставить благословение отца своего, гробы родительские, святое отечество, правую веру в Господа нашего Иисуса Христа!»

Окончание следует

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

В записях Бунина упоминаются следующие лица и сочинения:

21 апреля — критик Александр Михайлович Скабичевский [1838—1910], именем которого, между прочим, воспользовался булгаковский Бегемот; балерина Екатерина Васильевна Гельцер [1876—1962], советский государственный деятель Христиан Георгиевич Раковский [1873—1941] и Георгий Васильевич Чичерин [1872—1936], актриса Елена Александровна Полевицкая [1881—1973] и ее муж режиссер Иван Федорович Шмит [умер в Риге в 1939 г.]; стихи Анатолия Фюлетова [Натана Беньяминовича Шора; 1897—1918], любимца юной поэтической Одессы.

22 апреля — философ Евгений Николаевич Трубецкий [1863—1920], народный социалист Александр Васильевич Пешехонов [1867—1933].

23 апреля — норвежский путешественник и общественный деятель Фритъоф Нансен [1861—1930], журналист Василий Александрович Регинин [Раллорорт; 1896—1952], писатель Андрей [Юлий Михайлович] Соболев [1888—1926], публицист Николай Иванович Иорданский [1876—1928], финский художник Аксели Галлен-Каллела [1865—1931], Павел Николаевич Милюков [«министр иностранных дел»] [1852—1943].

24 апреля — Борис Самойлович Юзефович [Северный], советские государственные деятели Павел Ефимович Дыбенко [1889—1938] и Александра Михайловна Коллонтай [1872—1952], писательница Татьяна Львовна Щелкина-Кулерник [«Н. Н.»] [1874—1952], воспоминания о Л. Толстом Валентина Федоровича Булгакова [1886—1966], экономист Иван Иванович Иванов [1844—1912].

Кроме того, 24 апреля упоминается стихотворение Бунина «22 декабря 1918 г.»:

И боль, и стыд, и радость. Он идет,
Великий день, — олять, олять варягу
Вручает обезумевший народ
Свою судьбу и темную отвагу.

Да будет так. Привет тебе, варяг.
Во имя человечности и Бога,
Сорви с кровавой бойни наглый стяг,
Смири скота, низвергни демагога.

Довольно слез, что исторгал злодей
Под этим стягом «равенства и счастья»!
Довольно площадных вождей
И минимого народовластья!

25 апреля — деятель одесского Центропрофа — С. Фельдман [«Саша Фельдман»].

26 апреля — писатели Наум Маркович Осипович [1870—1937], Семен Соломонович Юшкевич [1868—1927], филолог Дмитрий Николаевич Овсянко-Куликовский [1853—1920].

27 апреля — публицист Иван Маркович Радецкий, в ту пору — деятель Союза славянских добровольцев, литератор Александр Арнольдович Койранский [1884—1968], авантюрист эпохи гражданской войны — Николай Александрович Григорьев [1894—1919].

28 апреля — советский государственный деятель Владимир Александрович Антонов-Овсеенко [1883—1939], филолог В. Ф. Лазурский [«Л»].

30 апреля — критик Давид Лазаревич Тальников [Шлитальников] [1882—1961] [«Д»].

2 мая — писатель Александр Абрамович Килен [1870—1940].

3 мая — семья журналиста Сергея Ивановича Варшавского.

4 мая — журналист Владимир Александрович Розенберг [1860—1932].

5 мая — художник Евгений Осипович Буковецкий [1866—1948], советский государственный деятель Николай Ильич Подвойский [1880—1948], Т. Л. Щелкина-Кулерник [«Щ»].

АРНОЛЬД ДЖОЗЕФ ТОЙНБИ

Великий английский историк, философ истории и моралист Арнольд Дж. Тойнби родился в Лондоне 14 апреля 1889 года. Его дядя, также Арнольд Тойнби, был известным историком-экономистом. Тойнби изучал историю и классические языки в Винчестере и Оксфорде. В 1911 году он почти год путешествовал по Греции и Криту. В 1912—1915 годах Тойнби доцент истории в Оксфорде. В 1922 году он участвует в Парижской мирной конференции, затем предпринимает путешествие в Японию и Турцию, возвращаясь на родину через Сибирь. По возвращении он становится профессором всеобщей истории в Лондонском университете. В дальнейшем занимает пост директора архивного отдела министерства иностранных дел Великобритании.

На формирование философско-исторической концепции Тойнби решающее влияние оказали французский философ Анри Бергсон и немецкий культуролог Освальд Шпенглер. Оптимистическое в целом учение Бергсона о творческой эволюции и мрачные эсхатологические предсказания автора «Заката Европы» своеобразно синтезировались в чисто британском сангвинистическом мировоззрении Тойнби, который в этом смысле был продолжателем самобытной национальной традиции, ведущей начало от Дэвида Юма, автора «Истории Англии», и плеяды историков-моралистов XIX века — Говард Гиббон, Томас Маклей, Генри Бокль. Важнейшую роль в формировании теории Тойнби сыграло также учение Карла Густава Юнга о коллективном бессознательном.

Говорят, что Тойнби, когда ему было 33 года, в то время блестящий чиновник политического департамента, набросал на половинке концертной программы план труда всей своей жизни, который он на протяжении более 30 лет приводил в исполнение. Этот уникальный гигантский труд «A Study of History» (Изучение истории) насчитывает 12 томов большого формата, которые издавались с 1934 по 1961 год.

В основе концепции Тойнби лежит восходящее к Блаженному Августину представление об историческом процессе как о чем-то телеологическом, закономерном, как о своеобразной драме, завязкой которой является рождение цивилизации, кульминацией — ее рост, а развязкой — ее упадок и гибель. Телеологическая линейность сочетается у Тойнби с циклическим универсализмом, идущим от мифологической традиции в осмыслении времени и истории, а в европейской философии от Джамбаттиста Вико, автора «Новой науки об общей природе наций» (1725), рассматривавшего историю как непрерывный процесс повторений и взаимных отражений. Непосредственный предшественник Тойнби О. Шпенглер выделял в развитии человечества восемь цивилизаций: египетскую, вавилонскую, индийскую, китайскую, мексиканскую, античную, арабскую и европейскую. Он рассматривал историю как единый поток, где одна цивилизация сменяет другую.

В концепции Тойнби «морфологический» подход Шпенглера наложен на интуитивистскую теорию Бергсона, согласно которой в зарождении культуры активную роль играет творческое меньшинство, некая открытая миру душа, личность (в христианской культуре это прежде всего Иисус). При зарождении цивилизации, возраст которой насчитывает, по Тойнби, примерно 6 тысяч лет, это активное творческое меньшинство ощущает некий экзистенциальный «жизненный порыв» как: Отклик на культурный Призыв, или Вызов (Challenge) — ключевое понятие в историософии Тойнби. Взаимодействие между Призывом и Ответом и составляет механизм развития цивилизации. В соответствии с этим Тойнби строит свой главный труд, исследующий историю цивилизаций земного шара. Первый том — «Происхождение цивилизаций», второй — «Рост цивилизаций», третий — «Надлом цивилизаций», пятый и шестой — «Распад цивилизаций», седьмой — «Универсальные государства», восьмой — «Всемирские церкви», далее — «Контакты между цивилизациями в пространстве», «Контакты между цивилизациями во времени», «Закон и свобода в истории», «Взгляд на будущее западной цивилизации», «Что вдохновляет историка».

В отличие от Шпенглера Тойнби не предрекал однозначно гибели европейскому миру, но предостерегал его от гибели. В большинстве его произведений звучит мотив предупреждения об опасности, грозящей цивилизации со стороны как крайнего радикализма, так и крайнего консерватизма. Представитель лучших традиций британской либеральной науки, Тойнби жестко негативно относился к идее революции вообще и к марксистской концепции смены общественно-экономических формаций в частности. Крайностям механического детерминизма Тойнби противопоставляет квиетистскую религиозность неортодоксального толка. Вопрос о свободе воли, один из центральных вопросов любой философско-исторической доктрины, Тойнби понимает как вопрос о вовлечении творческой личности в контакт с провидением и целенаправленном творении ею воли Божества.

Умер Тойнби в 1971 году.

Советский читатель практически незнаком с произведениями Тойнби. Кроме двух маленьких публикаций: 1) «Человечество в осадном положении» — «Литературная газета», 1974, № 30; 2) Переписка с академиком Конрадом — в кн.: А. И. Конрад. Избр. труды. М., 1976 — его сочинения не публиковались в СССР. Таким образом, настоящая публикация, один из первых и, будем надеяться на лучшее, многих будущих опытов знакомства произведений британского мыслителя с широкой публикой в нашей стране.

В. РУДНЕВ

Арнольд Джозеф ТОЙНБИ

ХРИСТИАНСТВО И МАРКСИЗМ¹

(...) Когда около семнадцати лет назад революционер Ленин и его соратники сделали хозяевами обломков бывшей Российской империи, их политика определялась двумя основными убеждениями: первое было унаследовано от их предшественника и оракула Карла Маркса, ко второму их принуждала международная ситуация текущего момента. Традиционное убеждение заключалось в том, что социалистическая революция, которая *ex hypothesi*² окончательно неизбежна, достигла бы predeterminedного ей триумфа, если она совершилась бы на всей земной поверхности — или, во всяком случае, пронеслась одновременно, единой волной, над всеми ведущими индустриальными странами того времени*. Убеждение, продиктованное сложившейся в 1917 году ситуацией, заключалось в том, что эта всемирная революция надвигается благодаря смертельным ударам, которые капиталистические страны наносят по телу всего капиталистического общества в результате междоусобной войны друг с другом.

Как будет видно в дальнейшем, отношение соратников Ленина к мировой революции нельзя не уподобить отношению первого поколения христиан к

Страшному суду³; в независимости от того, имеется ли историческая связь между двумя группами людей, разделенных девятнадцатью веками Истории и гораздо более широкой пропастью духовной дистанции**, во всяком случае определено, что в той мере, в какой можно провести параллель, психологический эффект был тот же самый. Подобно первому поколению христиан, соратники Ленина считали, что было бы неуместно и даже легкомысленно тратить свою энергию на строительство временного убежища для Церкви Избранных в рамках мирового порядка, который был обречен на слом в ближайшие месяцы или годы. Что должен был предпринять этот крошечный авангард избранных на этом клочке земли, который перешел в их руки, в предвосхищении высших событий — всемирных перемен, которые должны были перенести весь мир и все человечество в пределы Нового Царства? Очевидно, им не следовало терять время попусту и злоупотреблять своей привилегией находящихся на передовой линии движения, громоздя на этот стиснутый и ограниченный участок структуру, которая не могла бы быть ни представляющей восходящий эон⁴, ни способной восстановить упадок жиз-

недеятельности окружающего Города Разрушения⁵. Очевидно, скорее, задача, предназначенная им в это время конца века, заключалась в том, чтобы благоговейно ожидать пришествия ошеломительного превращения, которое они обязаны были предвкушать как неизбежное, равно как и близящееся событие, научены ли они были ожидать его подобно ранним христианам в результате действий Бога или подобно ранним марксистам как результат неотвратимого процесса Исторического Детерминизма***.

В самом деле, ранний марксист в соответствии со своими собственными воззрениями имел даже меньше оправданий, чем ранний христианин, чтобы оставлять какой-либо залог Фортуны истекающего века. В то время как христиане, подобно строго ортодоксальным иудеям, ощущали себя обязанными предоставить Богу совершать его собственную динамическую работу, марксисты, подобно иудейским зелотам начала христианской эры или примитивным мусульманским яхидам, были менее логичны, понимая свое предназначение именно как необходимость обнажить меч, чтобы своими собственными руками участвовать в приближении конца, неизбежность которого, по их мнению, была предопределена Властью, в чье всеисилие они верили.

Однако уже первая глава в истории марксизма, как и первая глава в истории христианства, показала потускнение апокалиптической иллюзии и в связи с этим потерю соответствующего состояния духа. В обоих случаях следствием было смещение акцентов. В то время как догма о грядущем тысячелетии ревностно хранилась в богословской сокровищнице веры, усилия Церкви от приговоров к наступлению великой экуменической перемены были направлены на ежедневные дела и общую задачу, направленную на исполнение заповедей в том временном жилище, которое Церковь обрела для себя в непереродившемся мире.

В 1917 году русские коммунисты, которые устремились на свободное место, оставшееся от рухнувшей Российской империи, смотрели на свою добычу с презрением, как на кучу тряпья, саму по себе не имевшую никакой ценности. Они придавали большое значение своему захвату этого участка просто потому, что он содержал большое

количество воспламеняющегося материала; поскольку они считали, что стоит им один раз поджечь эти обломки рухнувшей России пламенем своих революционных факелов, как большой пожар немедленно охватит весь мир и слизнет фабрики, дворцы и храмы Европы и Азии, и, возможно, даже Америки теми же языками пламени, которые будут пожирать мусор, оставшийся от царизма в России. Когда же объемлющее весь мир пламя уляжется, наступит время для закладки основания новой экуменической коммунистической социальной структуры; и не было резона ни в логике, ни в чувствах, почему первый камень должен быть заложен на том же самом клочке земли, где красный дракон и последователи Исторической Необходимости случайно обнаружили возможность совершения предварительного акта ритуального поджога. Разумеется, Ленин и его соратники не испытывали какой-то особенной любви к своей родной России. На теоретической основе, христианского или даже совершенно стоического происхождения, они были убежденными космополитами, и их изначальное мировоззрение подкреплялось личным опытом, поскольку судьба их борьбы против царизма сделала их почти пожизненными изгнанниками**** и большинство из них провело большую часть своего изгнания в городах Западной Европы. Со снобизмом, противоположным снобизму славянофилов, они широко открыли глаза навстречу технологической и культурной отсталости России и гордились, объявляя это. Поэтому после революционного завоевания России в 1917 году они — именно потому, что они были русские, добившиеся славы в собственной стране, — нарочито объявили, что, как только Мировая Революция распространится из России на одну из развитых стран Запада, штаб Коммунистического Интернационала и столица Союза Советских Социалистических Республик будут перенесены, как нечто само собою разумеющееся, из Москвы в Берлин или куда угодно, где могла бы находиться столица успешно преобразованной западной страны. В ожидании этого следующего этапа Мировой Революции план строительства предварительного лагеря на участке, доставшемся Воинствующей Марксистской Церкви от бывшей Российской империи, был основан на системе, ко-

торая была бы способна к распространению из этого ограниченного участка на весь мир без существенных изменений в фундаментальном плане. Благодаря завоеваниям московитского империализма, сделанным в течение четырех предыдущих веков, регион, перешедший во владение к большевикам, представлял из себя прекрасный образец современного мира — несмотря на то, что лишился бахромы подвластных ему западнохристианских территорий, которые царизм завоевал со времени царствования Петра Великого. Даже после потери этой западной зоны наследство, доставшееся большевикам от царизма, все еще включало в себя значительное разнообразие социальных типов: русские и нерусские; оседлое население и кочевники; индустриальные рабочие городов и крестьяне; полузападные космополиты и примитивные племена. Большевики были так же безжалостны, как и цари, в стремлении варварскими методами навязать этому значительному и многогранному образцу современного человечества жесткое единообразие, которое было выбором тиранов, а не их жертв. Форма жизни, предназначенной для этого Прокрустова лечения⁶, была тем не менее другой. В целом цари проводили политику терпимости или по крайней мере *laissez faire*⁷, в обращении с социальным укладом и экономическими институтами своих подданных. Единообразие, навязыванием которого они были озабочены, было национальным единообразием, и их тирания принимала формы насильственной русификации. «Коммунизация» взамен русификации была формой тирании, которую большевики вынашивали в сердце; и они были, если возможно, еще ужасней, чем их имперские предшественники, в ее установлении; но под этим же символом они были безразличны в вопросах национальности. И в то время, как цари инстинктивно или невольно были терпимы по отношению к социальным и экономическим вопросам, большевики в национальном вопросе были терпимы умышленно — и по двум причинам.

Во-первых, они были озабочены тем, чтобы не спровоцировать национально-освободительные движения на подвластных территориях, которые могли отвлечь внимание, взвизвись, как красная тряпка, вслед их собственной коммунистической пропаганде. Во-вторых,

они полагали, что их рассчитанное великодушие по отношению к национальной идиосинкразии могло бы не только примирить с коммунистическим режимом ранее угнетенные национальности, которые перешли под их управление от царского режима, но могло также, возможно, привлечь в коммунистическую паству братию из тех советских граждан, чья национальность все еще была причиной гонений в соседних странах. Соответственно этому большевики приняли перекаривать свои владения в разработанную иерархию федеративных республик — с подчиненными республиками внутри каждой из них и автономными областями внутри последних — что отдавало должное, и часто более, чем должное, законным национальным требованиям меньших и более отсталых народностей в вопросе административного и культурного самовыражения. Хотя великорусская нация пропорционально общему числу населения стала преобладать еще больше, чем в более обширной, чем Российская империя, Российской Советской Федеративной Социалистической Республике, ей было отдано только одно место — сперва из четырех, а в конечном итоге из семи — среди непосредственных составных частей Союза. Имя русской нации было скрупулезно удалено из названия самого Союза. При проведенной внутренней границе между различными автономными территориями нерусским обычно отдавалось предпочтение по сравнению с русскими везде, где практически обособленно представлялось невозможным провести административные границы, точно совпадающие с действительными границами расселения народов. И два непосредственных члена Союза — а именно Украинская и Белорусская Советские Социалистические Республики — были соблазнительно выставлены на виду у подавленных украинцев и белорусов, подвластных Польше. На самом деле нерусские, ранее подвластные царю, которые рассматривались царями как сырье для русификации, виделись большевикам как приманка, как передышка на пути расширения первоначального Советского Союза во всемирную державу на нерусском базисе, которая должна была расширять свои границы *pari passu*⁸ с прогрессом Мировой революции.

Как будет видно, структура Советского Союза согласовывалась с требо-

ваниями апокалиптической иллюзии, которая постоянно была перед глазами Ленина и его соратников в 1917 году. Но в то же время цельная структура Союза, даже на основе этого потенциально экуменического плана, являлась материальным свидетельством того, что реализация всемирно-революционных ожиданий его основателей откладывалась. Ведь такая детально разработанная и бесхитростная структура не могла быть и в действительности не была построена в один день; и в процессе ее строительства большевики уже стали менять характер своей собственной деятельности. Вместо поднесения спички к куче тряпья, которая должна была спалить весь мир дотла, они принялись возделывать сад, в котором каждый обладатель билета, явившийся в полагающей коммунистической брачной одежде, усаживался в покое и мире под коллективной лозой и фиговым деревом. Но уже не было Александра, поджигающего в Лазийской ярости Персеполис⁹; был Кандид¹⁰, устраивающийся после того, как посеял своей дикой овес.

Истина заключалась в том, что с того момента, как большевики получили царское наследие, они вынуждены были отстаивать свою собственную «идеологию» против упрямых фактов «Исторической Необходимости» в окружающем их мире, в котором они умышленно выбрали материальный пай; и Богиня их академического культа теперь преднамеренно демонстрировала им капризное содействие Фортуны, которой они дали залог. «Историческая Необходимость» не упускала случая, чтобы скромно намекнуть своим чересчур ревностным поклонникам, что она не намерена следовать по рельсам, которые Маркс, самолично назначенный ею жрец, с такой готовностью уложил перед ее устрашающих размеров ведущими колесами. В свое время она появилась как создание «Машинного века»; но ее эпифания не являлась подобием трамвая. Она предпочитала идти своим путем наподобие беспорядочно управляемому омнибусу — как бы подтверждая, что даже в эти механические дни «Дух дышит, где хочет».

(. . .) Эта безошибочная для всех национальных государств послевоенная тенденция становиться тоталитарными, и для этой общей тоталитарности образовывать одинаковый тип, могла бы

в это время быть отвергнута с одинаковым презрением как парадокс, или обличена с одинаковым ужасом как проклятие апостолами национального коммунизма и апостолами национального фашизма; однако христианскому философу стремление к единообразию могло бы показаться настолько естественным, насколько оно было очевидным. В обоих случаях — сталинизма и гитлеризма — Августин из Мадары¹¹ или Фома Аквинский¹² увидели бы два тесно связанных варианта одного процесса, посредством которого последующее общество, отрекшееся от *Respublica Christiana*, возвращалось к положению *magnum latrocinium*¹³, состоящим из скопления племенных сообществ. В этом поколении *Civitas Dei*¹⁴ на Земле — с его воодушевляющим принципом любви и его всемирным братством всех людей через Отцовство Бога — видимо удалялось, подобно Астрее¹⁵, к небесному месту своего происхождения и предпочитало земному этапу первобытное множество локальных государств, воодушевляющим принципом которых была Физическая Сила.

В коммунизме, как и в фашизме, архаическое прославление силы было отличительной чертой. Однако было не так легко для любого движения, которое возникало в христианском окружении, отойти от своих истоков. И в изначальном благовествовании о Мировой революции марксизм все еще притягивал к себе христианские облака славы — какую бы извращенную карикатуру на свой христианский источник вдохновения он ни пытался изобразить путем отторжения братства людей от их божественной причины и утверждения, а затем подставляя языческий метод Силы вместо христианского метода любви как полноправное средство для достижения своей искаленной цели. Тем не менее марксистская концепция Мировой революции отражала слабый отблеск христианского универсализма, подобно тому как гаснущий закат освещает грозовую тучу в вечернем небе. И хотя этот элемент в марксистской идеологии был обречен из-за отрыва от вдохновляющих идей христианства, будучи таким же мимолетным, как и соответствующий буржуазный идеал свободного предпринимательства, мир, падавший до уровня племенного строя, мог бы быть и хуже — хотя спокойнее — благодаря этому исчезновению,

и наблюдатель-христианин мог бы увидеть некоторую моральную потерю, так же как и выигрывать в материальном, в победе Сталина над Троцким.

С макиавеллиевской точки зрения как бы то ни было смена троцкистского военного коммунистического универсализма сталинским локальным коммунистическим национализмом могла считаться определенным и важным шагом на пути к миру во всем мире. Ведь человек, принявшийся возделывать собственный сад, это — человек, заинтересованный в сохранении *status quo*, который более не искушается тревожить соседей и, конечно, не интересуется их делами во всем, по крайней мере до тех пор, пока они со своей стороны не угрожают ему.

Советский Союз, который не имеет территориальных притязаний и поглощен задачей социалистической реконструкции своей экономики, нуждается в мире, подобно тому как человек нуждается в воздухе. Он нуждается в этом для роста и развития пролетарского государства.

Тем не менее в послевоенном мире насытившиеся — или даже просто удовлетворившиеся — власти обнаружили, что мир ни в коем случае не гарантируется автоматически государству, которому не свойственна алчность, поскольку в мире, находящемся на племенном уровне, подобная невинность редко являлась плодом аскетической добродетели. Гораздо чаще это было согласование владеющих «натуральными ресурсами», которое могло бы возбудить зависть в других народах, если бы они обладали достаточными возможностями успокоить приступы алчности в сердце их временного обладателя. «Мы не хотим ни клочка чужой земли», — провозгласил Сталин лично на шестнадцатом съезде ВКП(б) (состоялся в июне—июле 1930 года), — «но в то же время мы не отдадим ни пяди нашей земли кому бы то ни было». Эти слова едва ли вспомнились, когда гипотетическая угроза начала принимать конкретную форму во время военных действий Японии в 1931 году и национал-социалистической революции в Германии в 1933 году. И перед лицом явной угрозы Советский Союз отреагировал таким же образом, как любые другие государства — члены первобытного и находящегося в зачаточном состоянии общества, состояще-

го из локальных суверенных государств. Он искал укрепления своей оборонной мощи путем заключения соглашений о взаимопомощи с другими государствами, также осознавшими угрозу с тех же самых сторон.

Это возрастание японской и германской угрозы безопасности Советского Союза сразу же после триумфа нового сталинского национализма в планах Советского правительства сопровождалось в свою очередь глубоким изменением отношения ВКП(б) к перспективе следующей всеобщей войны. Это была одна из установившихся догм большевистской веры, что Советский Союз находится в непрерывной опасности быть атакованным армиями капитализма; но эта догма не была основана на каком-либо имевшем место факте в международной ситуации, какая установилась на протяжении декады, окончившейся 18 сентября 1931 года. Частично источником догмы был опыт большевиков, полученный ими в первые четыре года существования их режима, когда их младенческое государство действительно подверглось нашествию со стороны Германии, а впоследствии победивших союзников. В еще большей степени догма происходила от древней апокалиптической традиции, знакомой всем иудеям и христианам по книге пророка Даниила и по Откровению Иоанна Богослова¹⁶. Армагеддон¹⁷ был традиционным предисловием к тысячелетнему царствованию Христа; и в условном сюжете этой *Divina Commedia*¹⁸ решающая Мировая война, которая должна была привести к триумфу Святых и к поражению сынов Велиала¹⁹, была предопределена — Божественным Провидением или Историческим Необходимостью — чтобы разрешиться нечестивым нападением сынов погибели. Именно так в Советском Союзе продолжали официально представлять себе капиталистическую угрозу даже после того, как голос Троцкого перестал быть слышен в стране. Но когда неопределенные полчища легендарного капиталистического Антихриста воплотились в реальные армии двух таких ведущих земных сил, как японская империя и германский рейх, большевики были далеки от того, чтобы утешиться, обнаружив, что количество их потенциальных капиталистических противников сократилось с мистической цифры семьдесят до скромной цифры два. Столкнувшись

с угрозой агрессии в «реальной жизни», большевики, видимо, потеряли свою теологическую уверенность в том, что агрессия должна свестись к развязыванию агрессии, и соответственно они прекратили рассматривать перспективу грозящего нападения с прежней фанатической самоуверенностью. Напротив,

мир, который они прежде воспринимали как утомительную отсрочку своего неизбежного всемирного триумфа, теперь приобрел видимость сокровища, которое надо искать и отстаивать ввиду его собственной ценности, как наиважнейшую цель иностранной политики Советского правительства.

ПРИМЕЧАНИЯ А. ТОЙНБИ

^{*}«Экономический *coup d'etat*²⁰ в любой стране европейского континента или даже на всем европейском континенте, за исключением Англии, это просто буря в стакане воды» — заявление, сделанное Карлом Марксом 31 декабря 1848 года (цитируется по М. Т. Флоринскому, *World Revolution and the U.S.S.R.* (London, 1933, Macmillan-, pp. 161-2).

^{**}В пользу того взгляда, что сходство между соответствующими позициями ранних христиан и ранних марксистов было следствием исторических связей, а не в результате Случая или единообразия или человеческой природы, может служить то наблюдение, что марксистская вера обрела очертания в обществе, чей *Welfanschauung*²¹ был не только христианского происхождения, но оставался господствующим христианским со средних веков до восемнадцатого столетия христианской веры. Основной догмат социализма — «От каждого по способностям, каждому — по потребностям» — был подлинным и важным элементом первоначального христианского учения (как для практики, так и для проповеди, чему мы имеем несомненное свидетельство Юлиана Отступника²²). И хотя эта моральная аксиома могла, конечно, быть открыта заново благодаря независимому действию интуиции, она не может серьезно быть принята во внимание на основании этой гипотезы, когда подобное происходит в вере, выросшей на почве христианства, а не Китая или Индии. Мы можем уверенно отнести к Новому завету эту кардинальную доктрину Карла Маркса, так же как и его апокалиптическую схему мировой истории, которая безошибочно принадлежит к традициям, как известно заимствованной христианством и иудаизмом

из зорастризма. На этом примере мы можем определить марксистский социализм, как подлинную абстракцию христианства — но абстракцию, которая была настолько фрагментарной и скучной, что превратилась в нелепую пародию на свой великий подлинник. Маркс взял одну догму из христианства, применил ее исключительно к материальному плану жизни (игнорируя или отрицая духовный план) и последовал за Магометом в возврате к идее революционного насилия, — исламской «битвы на тропе священной войны», — которая могла быть свойственна более ранней апокалиптической традиции и которая привела к роковой жатве в иудейском эгоизме первого века христианской веры, но от которой остались только самые незначительные следы в тексте Нового завета или в этике Первобытной Христианской Церкви.

^{***}Марксистское божество, «Историческая Необходимость», было того же самого происхождения, что и примитивные доантропоморфические божества старой римской религии — Фортуна, Сорс, Робigio, Фебрис и остальные — которые, по-видимому, составляли целостную суть народного италийского религиозного сознания до того, как Италия попала под влияние последовательного эллинизма и христианства.

^{****}Ленин отправился в ссылку за пределы России в первый раз в 1900 году; он провел не менее пятнадцати лет за границей из семнадцати, прошедших с этого момента до его окончательного возвращения в 1917 году. В этом отношении Ленин был типичным представителем российских революционных социалистов своего поколения.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Настоящая публикация представляет собой фрагмент из книги «*Survey of International Affairs*» (Обзор международных дел), 1934. Это очередной ежегодник, выпущенный в Лондоне в 1935 году Тойнби как директором Института международных дел. Заглавие фрагмента редакторское. Раздел книги, в который он вошел, посвящен отношениям Советской России с иностранными державами. Текст дается с двумя сокращениями, которые касаются

прежде всего политической, а не историко-культурной стороны дела. Речь здесь идет о вступлении СССР в 1933 году в Лигу наций.

² *Ex hypothesis* — исходя из гипотетически принятого допущения (лат.).

³ Широкое сопоставление исторических судеб разных цивилизаций как один из принципов историко-философской концепции Тойнби непосредственно восходит к его предшественнику Освальду Шпенглеру.

ру, чья книга «Закат Европы» была в начале XX века одним из ведущих произведений того направления в философско-исторической мысли, которое можно назвать рэзхатологизацией. Шпенглер в своей «морфологии истории» рассматривает типологическое родство судеб разных цивилизаций и приходит к выводу о близящемся финале европейской, «фаустовской» культуры. В более широком плане идея сопоставления судеб цивилизаций вписывается в актуальную в начале века модель неомифологического подхода к истории, где время рассматривалось как повторяющийся цикл — «миф о вечном возвращении», возрожденный прежде всего в музыкальной тетралогии Рихарда Вагнера. В отечественной мысли взгляды, перекликающиеся с тойнбианством, развивали в XIX веке В. И. Данилевский («Россия и Запад»), в XX в. Н. А. Бердяев («Смысл истории: опыт философии человеческой судьбы») и современный мыслитель Л. Н. Гумилев («Этногенез и биосфера земли»).

⁴ Эон — «в мифологических представлениях позднеантичного язычества персонализация времени: мощный старец с львиной головой, скалящий пасть, вокруг тела которого обвилась змея» («Мифы народов мира») — М.: Сов. энциклопедия, 1980, т. 2).

⁵ Град разрушения, или град земной — см. примеч. 11.

⁶ Прокрустово лечение — в греческой мифологии Прокрустом прозвали разбойника Полипемона, который укладывал жертв на ложе и, если его гость был длиннее, чем ложе, отрубал ему ноги, если короче — вытязывал жертву.

⁷ Laissez faire — будь что будет (франц.).

⁸ *Pari passu* — в ногу (лат.).

⁹ Александр Македонский (356—323 до н. э.) взял персидский город Персеполис в 331 году.

¹⁰ Кандид — герой романа Вольтера «Кандид, или Оптимизм» (1759); К. после долгих скитаний по свету и превратностей судьбы проповедует оптимистический взгляд на мир, согласно которому каждый должен скромно трудиться, вкладывая свою лепту в общее дело, «возделывать свой сад».

¹¹ Святой Августин Аврелий (354—430) — великий раннехристианский мыслитель, один из отцов церкви, основатель европейской философии истории. В своем трактате «*De Civitate Dei*» (О граде Божьем) А. говорит о двух государствах — Граде Божьем и Граде земном. История, по А., — это борьба двух государств, в результате которой победит Град Божий, а

Град земной разрушится. История представляется А. драмой, завязкой которой является Первородный грех, кульминацией — Страсти Христовы, а развязкой — Страшный суд и обретение обитателями Града Божьего Жизни Бесконечной.

¹² Фома Аквинский (1225—1274) — один из величайших представителей средневековой мысли, автор основополагающего труда «*Summa Theologiae*». По-видимому, в данном случае Тойнби имеет в виду его трактат о государстве «*De regimine principum*» (О правлении князей).

¹³ «*Respublica Christiana*», «*Magnum Latrocinium*» — христианское государство, великое служение (лат.). Термины из произведений Фомы, трактующие светскую власть и служение ей как подчиненные по отношению к служению высшей церковной власти, олицетворением которой является католическая церковь с папой во главе.

¹⁴ *Civitas Dei* — Град Божий, Государство Божье — см. примеч. 11.

¹⁵ Астрея — в древнегреческой мифологии богиня справедливости.

¹⁶ Даниил — легендарный еврейский проповедник, автор входящей в канон Ветхого завета «Книги пророка Даниила», содержащей идеи мессии и Страшного суда. Иоанн Богослов — легендарный автор «Евангелия от Иоанна» и последней книги Нового завета и вообще Библии «Откровения», или «Апокалипсиса», содержащего наиболее подробно разработанную эсхатологическую доктрину.

¹⁷ Армагеддон — «в христианских мифологических представлениях место эсхатологической битвы на исходе времен, в которой будут участвовать «цари всей земли обитаемой» (Апокалипсис, 16, 14—16) («Мифы народов мира», т. 1).

¹⁸ «*Divina commedia*» (итал.) (Божественная комедия, 1307—1321) — поэма Данте Алигьери, состоящая из трех частей: «Ад», «Чистилище», «Рай».

¹⁹ Велиал — «в иудаистической и христианской мифологиях демоническое существо, дух небытия, лжи и разрушения» («Мифы народов мира», т. 1).

²⁰ *Coup d'etat* — внезапный удар, переворот (франц.).

²¹ *Weltanschauung* — мировоззрение (нем.).

²² Юлиан Флавий Клавдий (332—363) — римский император, прозванный Отступником за возврат к язычеству.

**Перевод с английского Г. ГОНДЕЛЬМАНА
Подготовка текста и примечания
В. РУДНЕВА**

ПЕСНИ СКАЛЬДА В ПОДЛИННИКЕ И ПЕРЕВОДЕ

Олаф Гутманис начал публиковаться в шестидесятых годах, когда он еще писал вполне традиционные стихи, в которых описывал таежную жизнь, разговаривал с морем и с любимой. Там было неясное ощущение трагизма, сокрытое в автобиографическом материале, но и довольно много риторики. Событием стали книги Гутманиса 80-х годов — «Дорога возвращения» и «Солнцестояние», последняя была признана лучшим стихотворным сборником 1986 года.

В этих сборниках поэт достигает поразительной степени сближения с тем, о чем он пишет. Это уже не стихи о морском ветре — эти стихи самого морского ветра, голос песка и крик загнанного зверя. А рядом — глубоко философское постижение жизни, понимание своей судьбы и судьбы своего маленького народа. Уже безо всякой риторики. Пещерный человек, язычник и скальд оживают в сознании современного поэта, он отдает им свой голос. Но то, что они говорят, не становится монологом из ложноклассической драмы, потому что все время ощущается связь с настоящим, продолжение древних судеб в нашей судьбе.

Если судить по внешнему виду, то стихи Гутманиса очень спокойны и уравновешенны, преобладает традиционное четверостишие и регулярные размеры. В этой форме много перекличек с народными песнями, поэт часто пользуется характерным для наших дайн хо-

реем. Рифмовка простая и точная. Главное впечатление от этого стиля — органичность каждой строфы и завершенность каждого стихотворения.

И вот вышла первая книга поэта на русском языке. Сразу ищу в ней свое любимое стихотворение «Песни скальда». «Когда земля оттаявшее слово выманивать начнет — сомкни уста. В горах мерцают ледники сурово. Неистует веками мерзлота. Когда тебе внушает океан, о чем кричать, а сам исходит пеной, — молчи: его мятеж — самообман. Побереги свой голос неразменный». Нет, нет этой выпренности в оригинале, там простой призыв — молчи. И другая связь с природой: «На вершинах гор блестит вечная мерзлота и под корнями жизнь, как слой льда». И «неразменного голоса» нет — какой скальд о себе такое скажет? Это ведь обращение к себе . . . «И ты пребудешь там. Чтоб с высоты весь мир увидеть. Зренье обострится. На дальних склонах зацветут цветы, янтарная морошка закритится. И молча скажешь все. Сумей сказать немного со смертью в поединке. Блестят у северянина в глазах — произительных — нетающие льдинки». В оригинале нет этого поединка со смертью, там все спокойней и не так красиво. «Останешься со льдом в северной стране, в высоких льдах северных вершин. Посреди камней зацветут цветы, в ягеле заблестит морошка. Ты молча скажешь все. Немного можно сказать такой земле, — всю жизнь, не тая, блестит в твоих глазах северянина лед».

Стихотворение состоит из трех песен, и во второй скальд должен воспеть поход викингов. Для своей песни он вы-

Олаф Гутманис. Тост за гребцов: Стихи/Пер. А. Зорина. — М.: Советский писатель, 1988.

бирает женщину в селе, на которое напали викинги, ее страх за себя и за ребенка он хочет оставить в рунах на камне. В переводе: «На камне выбил я, в вечность вписал того младенца и мать». И дальше в третьей песне: «Насколько безжалостна судьба ко мне, настолько безжалостным я встаю навстречу ей». В переводе: «За мной безжалостная судьба охотится, как за наживой». Борьба превращается в бегство, полностью исчезает утверждение: «Я — скальда, и помни — в эту минуту я не отец, не муж, только избранный для борьбы». Перевод этого стихотворения особенно трудно сравнивать с оригиналом потому, что во второй и третьей песнях исчезло деление на строфы, не сохранен четкий ямб и регулярная рифмовка. В последней строфе образом разорванного неба как будто намечается выход в будущее, связь с нашим временем — но этот образ исчезает в переводе. «С судьбой с угрюмым Богом полночи когда выйдут на свет или на свет меня вынесут, я снова буду отцом и ты мне будешь женой под разорванным небом». И перевод: «Полночный бог, что страшен лицом, пошлет погоню за мной . . . Когда же я вернусь на свет дневной, ты снова станешь счастливой женой, я — снова счастливым отцом». Здесь речь не о победе — только о спасении. И это совершенно другой образ скальда.

Я полагаю, что стихотворение «Песни скальда» — одно из программных в этом сборнике. Другое, не менее важное стихотворение — «Охота». Оно тоже состоит из трех частей. В первой гончие еще на привязи. «Голоса глубоко и сладко щекочут глотки, вырываются в визги, до того, как, в безумстве воя, разодрать тишину и перемешать шаги убегающего со страстной рысью гончих». Это подстрочный перевод. Эта часть стихотворения написана свободным размером, без рифм, и трудно понять, почему так обеднела образность перевода. «Повизгивают, отчаянные, прежде чем неистовым лаем разодрать тишину. Ну потерпите, еще миг один потерпите . . .»

Во второй части псы уже пушены по следу. «Занавес лесной чащи поднялся для игры: кто кого? И вдруг — я зверь, гонимый, окружаемый. И игра против меня, и псы, которых я сам пустил по следу. Поздно их отзывать и вернуть со следов, которые я сам оста-

вил осенью. — Ну, рожденный для свободы, — говорю себе, — игра началась. — Я знаю, что делать, ни страха, ни ужаса — вызов самому себе и собакам, которых сам пустил. Я стою, как вкопанный, и я чище, и я священной, и природа со мной до последней капли крови. Кто кого?» Это стихотворение не поддается простой расшифровке, оно — о противоречиях человеческой природы и наверняка трудное для перевода. Но, на мой взгляд, недопустимо так сужать смысл текста, как это сделал переводчик, добавляя от себя новую концовку. «Ну — кто кого! Извечное искусство погони . . . А может, оно замыслено против меня? Может быть, это я — зафлажкованный и гонимый. И собаки, спущенные мною, ищут меня? . . . Поздно уже им свистнуть, поздно вернуть . . . Это они по моему пластаются следу, который оставил я осенью. — Ну, свободнорожденный, — говорю я себе, — вызов принят. — Ни сомнением, ни ужасом не защитишься: вызов себе самому. Встал как вкопанный, с места не сдвинусь — лес и поле родное со мною. Слово вымолвил — отечай. Слово — гончим голодным подобно. Мы порой забываем, что сами на себя натравляем собак».

Осталась еще третья часть. «Да, у меня ноги, которые могут легко солгать, и природой дана способность обманывать. Я знаю, как гибнут в капкане, как — в петле; и как — от пули. Я знаю, как дрожат от воя псов, как ускользают от клыков собак. Но я как застывший стою на звериной тропе, открывая для себя сотни других миров. Как смелою медленно преодолевается смелость, как самосознание учит не уходить, как своим страстным ко лжи ногам и своему страху сказать: нет!» В этой части в переводе от шести строк осталось пять, и различия тут тоже принципиальные. «К тому же ноги ненадежны (?), они — мой затаенный враг (?). Я знаю, как влетаю в петлю и пуля настывает как. О этот вой — нет злее пытки (?), но мне, в двух метрах от норы застывшему, иные дали, иные видятся миры. Надежное сопротивление погоне — страх преодолеть, не лгать. И каждое мгновение ждать неминуемую смерть». Если в оригинале другие миры упомянуты как возможности других моделей взаимоотношений, построенных на других — более чистых — принципах, чем наши, то «другие дали» перевода

остаются загадкой. А эта названная по имени смерть — «неминуемая» — особенно неуместна, так же как «поединок со смертью» в «Песнях скальда». В стихах Гутманиса Смерть — с большой буквы — фигурирует только как действующее лицо в карнавале, в древних святочных плясках. Иначе он — как и древние язычники — предпочитает ее всею не помянуть.

Гутманис — один из тех, чья жизнь в самом начале была исковеркана культом личности. Его отношение к сибирской земле — земле своей юности — двойственно. Эта земля была навязана силой, но тем не менее любима. От этой странной любви возникают такие пронзительные стихи, как «Морошка», где еще раз ярко проявляется то, о чем я уже упоминала, пытаюсь охарактеризовать главные черты поэзии Гутманиса — сближение, даже срастание с природой. Начало — о коротком северном лете, о морошке, быстро созревающей, — и незаметный переход к первому лицу. «До вечной мерзлоты корни, но мы расцвели в цветах, но взахлеб успели вызреть в ягоды, до того, как простор тундры затих под снегом, холоден и нем. Мы были детьми северной страны — нам не уйти, как птицам в небо. Мы держались — крепкий ягодник — за юность, за эту землю. Каждый год мы морошкой вызреваем по таволговым лугам, хотя теперь уже под корнями вся оттаявшая земля, а не как тогда — вечная мерзлота».

В переводе на этот раз на одну строфу больше, но не для того, чтобы вместить действительно сложную образную структуру оригинала. «Быстро ягодники попевали. Корни их просыпались легко. Потому что до льда залегали неглубоко. Мы и сами, как ягодник черствый, выживали, за кочки держась. Влажный ветер защитной корочкой прикрывал нас от смерти не раз. Мы к навязчивым ласкам зимы привыкали сильнее с каждым годом. И завидовали перелетным птицам — дети суровой земли. Этой ягоды здесь нам хватает... Где родные болота оттаят без остатка — не то что в лета достопамятные... Не испугает душу вечная мерзлота».

Кстати, опять смерть проскользнула в строчку... Но это уже совсем другое стихотворение, о других чувствах. Нет щемящей тоски по молодости и любви к местам своего взросления. Есть бравое оптимистическое окончание, как в песенке: «не испугает душу вечная мерзлота». Вернее, это не другое стихотворение, это — не стихи.

В книге есть и более удачные переводы, но ко многим из них можно предъявить такие же претензии. Я остановилась так подробно на этих нескольких примерах потому, что это очень важные для понимания поэта стихи. И если их переводы не состоялись — или состоялись весьма приблизительно — то, к сожалению, эту книгу нельзя отнести к удачам.

ДЛЯ ИСТОРИИ



С этого номера «Даугьяа» начинает публиковать мартиролог — список имен и скупые данные о них — все, что известно на сегодня об этих людях, сгинувших в эпоху сталинизма. Имен этих десятки миллионов, и с годами все меньше остается надежды установить тех, кто стал жертвами Большого Террора. Но есть человек, который вырвал из небытия малую их часть — 135 000.

Считаем необходимым опубликовать хотя бы эти имена, чтобы в руках у современников был пусть даже такой документ — другого нет.

Естественно, одному журналу не под силу зафиксировать и эти 135 000 карточек самостоятельного исследователя. Мы вычленили лишь людей Латвии. Но ведь журнала в стране — сотни. Отраслевых и региональных. А в картотеке Дмитрия Юрасова есть разделы территориальные и отраслевые. Есть тут машиностроители и есть писатели, есть транспортники и есть медики, есть военные и есть крестьяне. Пусть их имена будут высечены если не на стене (не найдется в мире такой стены), то хотя бы на страницах. Пока существует картотека. Пусть возникнет первый суммарный опубликованный документ — для суда истории.

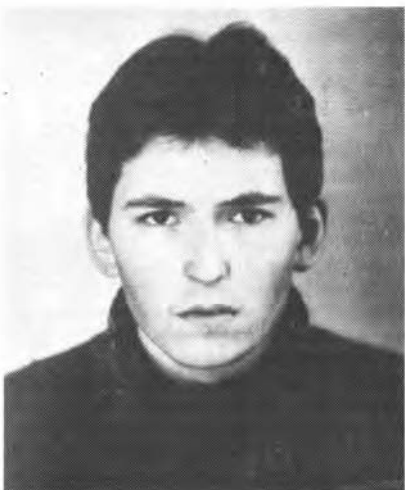
Этой публикацией мы хотим закрепить в истории и само понятие «картотека Юрасова» — подвижничество собирателя достойно памяти. Историки будущего должны знать: была такая. (В качестве иллюстрации использована работа графика Юриса Пурамса «Человек со шрамом».)

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СОБИРАТЕЛЕ

У нас не принято присуждать звание «Человек года», но рискую предположить, что Дмитрий Юрасов мог бы стать одним из основных претендентов на этот титул, и получи он его — это было бы только справедливо.

Ему всего двадцать четыре года, но о нем уже пишут в газетах и журналах, показывают по телевидению; он был одной из центральных фигур Недели совести, организованной «Огоньком», потому что им была проделана гигантская работа, часть из которой видели участники Недели совести.

Он собрал, своими руками заполнил 135 тысяч карточек советских людей, репрессированных в годы сталищины. Он и сам признает, что это — лишь малая часть того, что надо сделать (на одном из реабилитационных дел он видел номер 16 000 000), но Юрасов стал фактически первым, кто принялся



за эту работу — один, сам, не поддерживаемый никем. Просто потому, что иначе он не мог.

В 10-м номере журнала «Нева» за 1988 год о нем есть прекрасный очерк Виктории Чаликовой «Архивный юноша», и всех, кто хочет узнать подробнее об этой незаурядной личности, я отсылаю к журналу. И чтобы не повторяться, скажу лишь несколько слов о нашей с ним встрече. У Димы Юрасова открытое чистое лицо, и первое впечатление открытости, готовности к помощи не обмануло. Дима Юрасов с удивительной отзывчивостью пошел на сотрудничество с нашим журналом и незамедлительно подготовил часть своих уникальных материалов. Перебирая картотеку, он одну за другой подобрал карточки тех латышей и выходцев из Латвии, которые были репрессированы в сталинские времена. Наша встреча то и дело прерывалась телефонными звонками. Звонили самые разные люди — спрашивали, уточняли, советовали, интересовались, и каждый говоривший встречал в лице Юрасова внимательного и чуткого собеседника.

Из месяца в месяц «Даугава» будет печатать «Картотеку Юрасова». В ней будут упомянуты люди Латвии, имена которых исследователь встретил в архивах Военной коллегии Верховного суда, в документах и литературе. Юрасов вполне отдает себе отчет, что его перечень далеко не полон, что в нем могут встретиться ошибки. Он будет искренне благодарен тем, кто поможет ему и в исправлении неточностей, и в пополнении картотеки. Если вы встретите знакомое имя, если вам есть что добавить, напишите.

Мы пришли к выводу, что у нас нет морального права на этом этапе проводить отбор, пытаться отделять «чистых» от «не совсем чистых» — пусть это будет делом историков. Сегодня же все они — жертвы, поскольку не было над ними никакого нормального суда.

Остается добавить, что Дмитрий Юрасов часто выступает перед многочисленными аудиториями страны как . . . лектор Волгоградской областной филармонии. Нефилармоническое свое дело он делает один и вручную.

И. ПОЛОЦК

МЕХАНИЗМ ТЕРРОРА

В первый раз я выступал перед ленинградцами в марте 1988 года, но выступление мое было полулегальным, так как положение у меня было более чем неопределенное. Дело в том, что после того, как у меня, сотрудника Особого архива Военной коллегии Верховного суда СССР, имевшего допуск второй категории, была обнаружена записная книжка с пометками из материалов, с которыми мне приходилось иметь дело, я был уволен. Затем я был отчислен из Историко-архивного института, где я тогда учился. Это было в июне 1986 года, и с тех пор я не мог устроиться ни в один архив. Пришлось работать грузчиком в магазине.

Я не мог напечатать ни один из подготовленных мною материалов, пока в приложении к «Комсомольской правде» мне не предложили написать письмо — «мы с ним поработаем и попробуем опубликовать».

После этого стало как-то легче. Прошел сюжет в программе «Взгляд».

Была работа по подготовке Недели со- вести. По материалам, которые я подготовил, были выставлены большие стенды с выпечатками из моей картотеки, представлявшими лишь небольшую часть ее: списки двадцати семи тысяч репрессированных.

Что это были за списки?

Один стенд был посвящен репрессиям, проходившим по линии Военной коллегии, которая реабилитировала всех этих людей в 1955 году, — пиковый год реабилитации. Она продолжалась в 1956—1957 годах, а потом пошла на убыль, потому что реабилитационной кампанией был дан откат. Военной коллегией было реабилитировано пятнадцать тысяч человек — посмертно. Все они были расстреляны.

Второй стенд рассказывал о репрессиях в ЦК партии. Я просматривал стенографические отчеты съездов партии с VII по XVII, выписывал состав руководящих органов партии, а затем, когда стал сверять эти данные со спис-

ками Военной коллегии, выяснилось, что большинство членов и кандидатов в члены ЦК проходили именно по этому ведомству. За десять съездов их набралось 259 человек. В сталинское время, в период ежовщины, из них было физически уничтожено 184 человека. То есть практически все: остальные, которые не попали под репрессии, либо успели умереть своей смертью, либо покончили самоубийством (Томский, Орджоникидзе), либо сами активно участвовали в проведении репрессий (Каганович, Ворошилов, Молотов, Жданов и другие).

Кроме того, были подобраны материалы по, как я их называю, «расстрелянным наркоматам». Для примера я взял Наркомат тяжелой промышленности (нарком Орджоникидзе) и Наркомат путей сообщения (нарком Каганович). В коллегию последнего, например, входили руководящие работники наркомата: заместитель наркома, начальники железных дорог, их замы, начальники политотделов и так далее. В общей сложности, в высший руководящий состав наркомата входило 112 человек. Из них было расстреляно 102 человека! Остальные — репрессированы. Состав коллегии полностью сменился в 1937—1938 гг. Уцелел только Каганович.

В коллегию Наркомата тяжелой промышленности входило 120 человек. Сразу после того, как был арестован замнаркома Пятаков, застрелился Орджоникидзе, коллегия наркомата была репрессирована и уничтожена почти в полном составе — не менее 90 процентов крупнейших хозяйственных руководителей были расстреляны.

Еще один стенд рассказывал о гонениях и ложных обвинениях против интеллигенции, в частности на примере писательской организации Союза. Более двухсот человек были уничтожены, затем посмертно реабилитированы и даже восстановлены в Союзе писателей. Практически все они входили в состав тех 593 делегатов, которые участвовали в учредительном съезде Союза писателей 1934 года. Я пользовался данными стенографического отчета Первого съезда советских писателей, который лишь недавно вернулся к нам из спецхранов. Чтобы дать представление о положении дел в те годы в местных писательских организациях, я взял писателей Белоруссии и Армении. Белоруссия: репрессировано

126 членов Союза писателей, из которых погибло 89 человек. Армянские писатели — расстрелян 41 человек!

Многие приходившие в Мемориал искали своих родственников среди огромного количества фамилий, но я не ставил своей задачей показать все, что у меня есть, — это было и невозможно, — это было сделано для того, чтобы создать эмоциональный фон, чтобы приходившие могли увидеть огромный масштаб совершенного зла.

Отдельный стенд был посвящен работникам НКВД: начальникам рай- и облотделов НКВД, заместителям Ежова, наркомам внутренних дел союзных и автономных республик — то есть тем работникам, которые осуществляли на местах кампанию крупномасштабных массовых репрессий. По «Постановлениям ЦИК» за подписью М. И. Калинина и секретаря Горкина они получали ордена и награды. Огромные списки этих постановлений были мною найдены. Руководящие работники получали, как правило, орден Ленина. Вот, например, Заковский, начальник Управления НКВД по Ленинградской области, получивший в июне 1937 года орден Ленина, — «Наградить за особые заслуги в деле борьбы с врагами трудящихся». Были и другие формулы: «За выполнение особых заданий партии и правительства», «За самоотверженное и добросовестное выполнение заданий партии и правительства». Когда Ежов получал орден Ленина, Калинин обнимал его.

Орден Красной Звезды («За личное мужество») получали работники рай- и облотделов, следователи на местах. Таких следователей, списки их награжденных, на стенде представлено около тысячи.

Интересна судьба многих из награжденных. Орденосца Заковского сняли и перевели на другую работу. Его место занял Литвин. Он тоже получил орден, а затем покончил жизнь самоубийством. Заковского арестовали уже на другой работе и расстреляли. Его судьба не была исключением. Почти все «ежовские орденосцы» были уничтожены вместе с самим Ежовым пришедшими им на смену людям Берия. Чтобы в этом убедиться, достаточно проглядеть списки за несколько лет и прикинуть, сколько людей из аппарата Ежова оказалось в бериевском ведомстве. Буквально единицы, два-три человека из этих огромных

списков; остальные были или физически истреблены или пошли по лагерям, из которых мало кто вернулся.

Около пятидесяти следователей, руководящих работников МВД и МГБ были арестованы и преданы суду. В 1954 году выездная сессия Военной коллегии Верховного суда СССР судила Виктора Семеновича Абакумова, бывшего министра госбезопасности, одного из организаторов «ленинградского дела»; судили полковника Комарова, судили Леснова, начальника следственной части МГБ, и следователя Бравермана. Только он получил 25 лет, остальные были расстреляны в 1954 году.

Одновременно в Москве судили Арсения Владимировича Путинцева, следователя по «ленинградскому делу», который допрашивал Кузнецова, Турко, Попкова, Закржевскую, Соловьева и многих других. Методы его работы — избивание резиновой дубинкой, прижигание тела и языка сигаретой. Об этом в своем выступлении говорил государственный обвинитель, Генеральный прокурор Руденко. Путинцеву дали двадцать пять лет, и дальнейшая его судьба неизвестна.

Вообще архив, который находится в здании Военной коллегии и Верховного суда в Москве на улице Воровского, огромен — порядка двух с половиной миллионов дел. Неохватный взглядом подвал, бесконечные коридоры буквально завалены делами в пачках, коробках, связках. Дела комплектовались с 1924 года, когда был организован Верховный суд и при нем Военная коллегия. В этих высших судебных органах рассматривались только дела исключительной важности, по которым может быть назначена высшая мера наказания. То есть там проходили не рядовые люди, а так называемая номенклатура — руководящий состав советского, партийного, профсоюзного аппарата; военные — от полковника и до маршала, а остальные проходили «на местах».

Реабилитационные дела датируются уже 1928 годом. Во многих делах 1926—1927 гг. масса ложных, глупых, надуманных обвинений, но до настоящего времени они являются «классикой» работы ОГПУ тех лет — реабилитаций по ним так и не вынесено. Они начинаются, как я уже говорил, с 1928 года.

Взять, например, «шахтинское дело». Первый в нашей стране открытый крупномасштабный процесс. Шел с мая по июль 1928 года. 63 обвиняемых — инженеры, техники, руководители горнорудных предприятий в Ростовской области: старые специалисты, которые добровольно перешли на сторону Советской власти.

Их обвиняли в том, что они саботировали добычу каменного угля, организовывали завалы, в которых гибли шахтеры. Обвинение утверждало, что целью подобных деяний был контрреволюционный промышленный саботаж, срыв заданий первого пятилетнего плана, подрыв Советской власти.

Государственным обвинителем выступал прокурор Союза Николай Иванович Крыленко.

63 человека, все до единого, признались в сознательном вредительстве. Процесс готовился долго, больше года. Но почему же они оговорили себя в открытом судебном заседании? Потому что в материалах следствия указывалось, что были применены спецмеры. Переводя на обиходный язык, скажем яснее — их пытали. После процесса часть инженеров была сослана на Соловки, а часть попала в первые закрытые ОКБ, ЦКБ, прообразы тех «шарашек», где потом работали Туполев, Королев и другие.

«Шахтинское дело» вызвало целую волну похожих процессов против инженеров горнорудных управлений уже по всей стране.

Подсудимыми на них были инженеры, которые были «шахтинцами» оклеветаны и названы на открытом процессе как их сообщники. Но дела этих инженеров по «сопредельным» процессам пересмотрены уже в 60—70-е годы, осужденные реабилитированы, а «шахтинское дело» пока еще остается в силе. Логика подсказывает вопрос: как же так может быть? Но работает комиссия ЦК, и, я уверен, дойдет и до этого дела.

Это было началом. Счет шел тогда на десятки и десятки людей, которых осуждали по процессам «спецов», «врагов с логарифмической линейкой», как их тогда называли.

Через два года, в 1930 году, возник процесс Промпартии. Тут счет пошел уже на сотни. Непосредственно по делу привлекались одиннадцать человек, как правило старых инженеров, работа которых была связана со строитель-

ством гидроэлектростанций и гидро-сооружений на территории страны. Обвинения были примерно те же самые — вредительство. Но появилось и новое — шпионаж, связь с разведкой одного из иностранных государств, от которых заговорщики получали деньги для создания Промышленной партии и организации переворота. А шпионаж в те годы карался по статье 58, пункт 6 — смертная казнь.

Тот же Крыленко потребовал для них высшей меры, и суд прислушался к нему, но затем по Постановлению ЦИК высшая мера была заменена 10 годами в исправительно-трудовых лагерях, откуда осужденные были направлены в те же шарашки. Один из них, профессор Рамзин, получил даже впоследствии Сталинскую премию за конструкцию прямооточного котла — времена были более-менее либеральные (если смотреть с точки зрения последующих лет).

Далее, с неумолимой постепенностью, счет пошел уже на тысячи. И связано это было с тем курсом, который мы сейчас совершенно справедливо называем насильственной коллективизацией. В связи с ней возникло дело так называемой ТКП — Трудовой крестьянской партии — по которому привлекались опять «спецы»: агрономы, кооператоры, экономисты, аграрники — всего по делу ТКП по стране было привлечено более 200 тысяч человек.

Наиболее известными именами среди арестованных были талантливые экономисты, преподаватели в вузах — Чаевы, Кондратьев, Ярославский, Летошенко и другие. И этот процесс и серия других были уже закрытыми, что объяснялось «наличием» у нас в стране огромной контрреволюционной партии ТКП. Но вся она была выдумана в тот период в недрах ОГПУ, что и подтвердило решение пленума Верховного суда СССР в 1987 году.

Дальше счет пошел на миллионы, и хотел бы сказать лишь о том, что начало им положила коллективизация. Подсчитать эти миллионы загубленных крестьянских жизней не представляется возможным, потому что ничего не фиксировалось, материалов не заводилось.

В те деревни и села, районы и области, которые подлежали коллективизации, выезжали партактивисты из города. Работу они проводили совместно с органами ГПУ и частями Красной Армии. Те дворы, которые на собрании

сельской сходки признавались кулацкими или подкулацкими, фактически разорялись, то есть имущество конфисковывалось, а раскулаченные хозяйства, имея с собой лишь то, что удавалось взять в руки, высылались в места спецпоселения. В результате возник чудовищный голод 1932—1933 годов, который унес миллионы жизней.

Сколько погибло людей в результате этой войны против собственного народа, неизвестно и, наверное, никогда не будет известно — бюрократического аппарата, который как-то фиксировал бы все, что происходило, у нас еще не существовало. Единственное, что остается делать, — это изучать результаты переписей: добросовестной 1926 года и достаточно фальсифицированной 1939 года. Демографы 1926 года планировали прирост населения в 25 миллионов, но данные второй переписи показывают, что количество населения в нашей стране не прибавилось — недобор в 25 миллионов. Он напрямую связан с коллективизацией, голодом и масштабными репрессиями времен ежовщины.

Первым прецедентом применения принудительного физического труда на стройках социализма было строительство Беломорско-Балтийского канала, так называемого ББК, инициатором которого в 1931 году был Сталин. Центром строительства стал поселок Медвежьегорск в районе озера Онега. Основная масса заключенных была переброшена из Соловецкого лагеря особого назначения, а затем был образован Белбалтлаг под руководством ОГПУ; непосредственно контролировал ход строительства зам. начальника ОГПУ Ягода.

Сталин установил невыполнимый по тем временам срок ввода в эксплуатацию канала — двадцать месяцев. Руководство ОГПУ решило рыть канал мельче, чем было указано в проекте. Канал был прорыт точно по длине — 260 километров — о его сдаче было объявлено в газетах; руководство ОГПУ получило ордена и каждому шестому из оставшихся в живых заключенных была объявлена амнистия. Остальных перебросили в другие, дальние лагеря.

А через некоторое время оказалось, что канал несудоходен — мелок. Но об этом молчали. А несколько позже практически все руководители ОГПУ были репрессированы.

С тех лет в широкое употребление вошла система труда, построенная на принудительном дешевом труде заключенных, система, которой руководил ГУЛАГ — Главное управление лагерей. Как оно возникло?

В 1934 году Постановлением ЦИК и СНК за подписями Молотова и Калинина Объединенное Государственное Политическое Управление (ОГПУ) было преобразовано в НКВД. На базе этого комиссариата было образовано в свою очередь ГУГБ — Главное управление государственной безопасности, в которое входил отдел СПУ (секретное политическое управление). В его ведении находилась политическая ситуация в Советском Союзе — то есть контроль за нею, за перемещением отдельных политических деятелей, бывших политических противников, за содержанием их разговоров и действий.

Кроме того, по упоминавшемуся постановлению возник первый в Советском Союзе орган несудебной расправы, Особое совещание, которое подчинялось только Наркому внутренних дел — ОСО при НКВД. Оно имело право рассматривать дело обвиняемого в его отсутствие, без свидетелей, адвоката, прокурора. Поначалу оно имело право выносить меру наказания от трех до пяти лет, затем — до двадцати лет, а позже — и высшую меру наказания. Что происходило с человеком после решения ОСО, никто не знал...

По тому же нормативному законодательному акту государственного значения было узаконено образование ГУЛАГа.

На его базе появились несколько Главных управлений, которые руководили сетью или группами лагерей на местах: например, ГУЖДС (железнодорожного строительства), ГУШОСДОР (шоссейно-дорожного), лесной промышленности, горной и металлургической — можно перечислять и перечислять... На основе этих управлений появлялись БАМлаг, начавший строить БАМ в 1935 году, Норильлаг (город Норильск и строительство полиметаллургического комбината) и так далее.

ГУЛАГ расширялся, и в 1948 году согласно секретной директиве министра внутренних дел СССР и циркуляра прокуратуры СССР в стране насчитывалось 162 лагерных отделения, в

каждое из которых входило 5—10, а то и больше лагпунктов. А в каждом из них содержалось от 500 до 10 000 заключенных.

1 декабря 1934 года был убит в Смольном Киров. И буквально в тот же день принимается постановление о порядке рассмотрения дел, касающихся подготовки и проведения террористических актов. По этому постановлению дела такого рода, дела лиц, даже заподозренных в подобных деяниях, рассматривались в десятидневный срок, за закрытыми дверями, и приговор приводился в исполнение немедленно. Первыми, на ком «копировали» это постановление, были Николаев и те, кого «прикрепили» к нему — Талмазов, Шацкий, Сосницкий и другие.

Убийство Кирова положило начало кампании террора и репрессий, об этом много писалось. Весь 1934 и 1935 годы продолжались аресты и высылки из Ленинграда и Ленинградской области людей, якобы связанных с убийством Кирова. Было и так: органы НКВД сверяли две адресно-справочные книги: дореволюционную «Весь Петербург» и «Весь Ленинград» за 1934 год. И тех, кто перешел из одной книги в другую, безошибочно высылали как «социально-опасный элемент» (СОЭ), «социально-вредный элемент» (СВЭ), как потенциальную базу будущих «врагов народа».

Чтобы было ясно, как и по отношению к кому это делалось, приведу один документ, касающийся высылки. В левом верхнем углу гриф: «Управление комитета госбезопасности при Совете Министров Союза ССР по городу Ленинграду».

«Справка

Выдана в том, что постановление Управления НКВД по Ленинградской области от 29 января 1935 года, по которому были административно высланы из города Ленинграда Равич Антонина Филипповна 1908 года рождения и ее дети, дочь Равич Светлана Владимировна 1931 года рождения и сын Равич Герман Владимирович 1933 года рождения, отменено 14 ноября 1960 года постановлением Управления КГБ при Совете Министров СССР по городу Ленинграду.

На день административного выселения Равич А. Ф., Равич С. В. и Равич Г. В. проживали в городе Ленинграде».

Они были рядовыми жертвами так называемого «кировского потока», который потом захватил и партийный и государственный аппарат. По этому внесудебному постановлению были высланы мать и двое ее детей, которым было четыре и два года. И пример этот был очень характерен для того времени.

Для характеристики механизма террора очень важен период смены руководства в органах НКВД. В августе 1936 года на место Ягоды, первого руководителя НКВД, Главного управления госбезопасности, председателя Особого совещания, пришел Николай Иванович Ежов.

Человеком он был для органов не случайным. Ведь до этого он руководил КПК, Комиссией партийного контроля при ЦК ВКП(б), и именно под его руководством в 1935—1936 годах была осуществлена кампания по массовому избиению коммунистов, так называемая чистка партии, в результате которой из нее было исключено более 400 тысяч коммунистов, в основном участников гражданской войны, Октябрьской революции, бывших участников оппозиции — без права на апелляцию, на восстановление.

Ежов перенял у Ягоды все его функции, и ему было присвоено звание Генерального комиссара государственной безопасности с неограниченными правами и полномочиями. Органы НКВД были поставлены над партией и правительством.

Неограниченные права и полномочия Ежова первым делом выразились в создании им филиалов Особого совещания на местах: в конце 1936 года появились на местах «двойки» и «тройки».

Политизоляторы, где были более сносные условия жизни, были закрыты, а их обитатели оказались в ИТЛ, исправительно-трудовых лагерях.

«Тройки», которые по директиве Ежова были созданы при всех областных управлениях НКВД, называли «разгрузочными». Они «разгружали» некоторые области и районы от «врагов народа». Такие же «тройки» работали и при наркоматах внутренних дел союзных республик.

Входили в них лица, занимавшие руководящие должности в области: один из секретарей обкома, начальник областного управления НКВД и военный прокурор области или прокурор по спецделам. И эта тройка за закры-

тыми дверями выносила приговоры — «к высшей мере», «20 лет», «15 лет» . . .

Некоторые «тройки» назывались «особыми». Они всегда выносили «высшую меру», восприняв как директиву слова Сталина, сказанные им на февральско-мартовском Пленуме ЦК 1937 года: «Я не могу назвать ни одного завода, ни одной фабрики, ни одной керосиновой лавочки, где бы не было троцкистско-зиновьевского или бухаринского вредительства».

Были еще и «двойки», которые выносили решения списочным порядком. Скажем, арестована большая группа людей, латышей или корейцев. Все они скопом обвинены в шпионаже. Постановление НКВД об их судьбе подписывают нарком внутренних дел и его заместитель, а также Генеральный прокурор (или заместитель его). И весь список — на расстрел. По Ленинграду и Ленинградской области работали и «двойки» и «тройки» . . .

Понятно, почему их деятельность проходила за закрытыми дверями. При составительности судебных процессов, при работе адвокатов, при обеспечении прав и обвиняемых и свидетелей 99 дел из 100 рассыпались бы в прах. А когда все это шло во внесудебном порядке, о такой «мелочи», как право, можно было не беспокоиться; проходила любая фальсификация, никто в них особенно и не вглядывался.

До ликвидации «троек» и «двоек» они проделали огромную работу. Их судьба была решена в конце 1938 года, когда Ежов, попав в опалу, стал наркомом водного транспорта, а затем был арестован. Стараниями этих органов внесудебных расправ были отправлены за ключую проволоку миллионы людей, и можно предположить, что Сталин и его окружение прикинули, что еще лет пять — и вся страна окажется в лагерях. Но так или иначе, они свое дело сделали — и сошли со сцены.

В истории «механизма террора» 1939 год знаменателен тем, что снова сменилось руководство. На место Ежова пришел Берия, у которого поначалу не было звания Генерального комиссара госбезопасности.

Он создал видимость послабления. Взамен хаотичных репрессий, массовых арестов ежовщины пришло методичное изучение техники допроса, ведения следствия, применения пыток и так далее. Пошла «откатная волна

освобождения» — было освобождено около трех тысяч человек, в основном из тюрем; надо было создать впечатление, что на место кровожадного Ежова пришел «либеральный» Берия. Мне попало очень много писем на его имя — «был осужден во время Ежова, прошу пересмотреть мое дело». Была вера, что кампания массовых репрессий пошла на убыль и больше не вернется.

Но «откатная волна» освободила единицы — по сравнению с масштабом репрессий, особенно если вспомнить о «возвратниках». Правда, некоторые, освободившись, в лагеря больше не попадали — как, например, О. Берггольц, К. Рокоссовский.

В 1939 году к Советскому Союзу присоединились территории Западной Украины и Западной Белоруссии. Вместе с частями Красной Армии шли и органы госбезопасности, которые производили фильтрацию новых советских граждан, отсеивая «малоимущий элемент» от имущих слоев. Их высылали как «панов», «белополяков», «западников» — такие обозначения были в ходу у органов НКВД. Высылки достигали огромного размера. Из всех присоединенных территорий, по некоторым данным, в места спецпоселений было направлено 25 процентов населения. Примерно такое же количество жителей этих мест постигла та же судьба после войны, когда началась активизация националистических групп в лесах. Никто не может оправдать ту кровь, что была на их руках (такая же обстановка была и в Прибалтике), убийства сельских активистов, коммунистов, но сегодня мы можем сказать, что их действия были в определенной мере спровоцированы карательной политической тех лет... Оттуда тянутся корни тех проблем, которые сегодня мучительно разрешаются в Прибалтике. Методика «селекции», опробованная на западе Украины и Белоруссии, потом была пущена в ход после присоединения прибалтийских государств, Северной Буковины и Молдавии. Под высылку попадало совершенно невинное население, которое, скажем, было не согласно с формой присоединения к СССР — но теперь их взглядами занимались органы НКВД в местах спецпоселений. То же, повторяю, было и после войны, когда, скажем, конкретного бандита за убийство приговаривали к высшей мере, но вместе с тем

высылали всю его семью с малыми детьми.

Обратимся к периоду Великой Отечественной войны. Известно, что начало ее было для нас исключительно тяжелым. Неожиданное нападение заставило отдать врагу огромные пространства, миллионы мирных жителей оказались в оккупации, мы потеряли массу боевой техники. Буквально вся страна говорила о том, почему это случилось: «Нам говорили «воевать на чужой территории малой кровью» — а что выясняется?»

Подобные разговоры расценивались как антисоветская пропаганда и агитация в условиях военного времени. Все недовольные действиями Красной Армии попадали под указ 1926 года, что в условиях военного времени обречало их на высшую меру наказания.

Была и такая группа людей, которую органы госбезопасности в то время называли «окруженцы-изменники»). Как правило, это были военнослужащие Красной Армии, которые не по своей воле оказались в окружении. Многие из них, прорвавшись сквозь вражеское кольцо, вышли к своим и оказались в сфере внимания Особых отделов и частей СМЕРШ (в простонародье эта аббревиатура расшифровывалась как «советский метод разоблачения шпионов»).

Эти органы выясняли, как военнослужащие оказались в окружении, как вышли, не являются ли они диверсантами. И те, которым не удавалось доказать свою невиновность, попадали в исправительно-трудовые лагеря.

С началом войны репрессии не прекратились. Машина органов НКВД проводила свою работу, и очень внушительную по размерам. Правда, процент репрессированных из состава «окруженцев» был сравнительно небольшим, потому что шла война и нужны были солдаты и офицеры, чтобы воевать.

Большая группа репрессированных связана с Законом от 26 апреля 1940 года о нарушении трудовой дисциплины или об опозданиях и прогулах. Опоздание на свое рабочее место более чем на 20 минут влекло заключение от полугода до нескольких лет. И в годы войны осуждали даже ребят, заменивших у станков своих отцов, ушедших на фронт. Они действительно опаздывали, не высыпались, и как тогда говорили судьи, у них порой рука не поднималась осуждать ребят за опоздание.

Этот закон потерял силу только после окончания Великой Отечественной войны, и недосидевшие, непогибшие люди, привлеченные по этому закону, были освобождены и амнистированы, но не реабилитированы.

Сталин однажды сказал, что у нас нет пленных, а есть изменники Родины. После победы из фашистских концлагерей было освобождено несколько миллионов наших военнослужащих, подавляющее большинство которых попало в плен не по своей воле. Их всех до одного направили в специально для этой цели образованные ПФЛ — проверочно-фильтрационные лагеря, смысл которых ясен из названия. И те «изменники», которые не сумели доказать, как они попали в плен, не сумели объяснить, почему не покончили жизнь самоубийством, — все они шли в наши исправительно-трудовые лагеря. И таких было примерно 15 процентов от общего числа прошедших фашистские концлагеря. Лишь в 1948 году, только после того, как последний военнослужащий прошел такую проверку, эти фильтрационные лагеря были закрыты.

Есть еще одна причина их образования. В исправительно-трудовых лагерях была острая нехватка в дешевой рабочей силе; часть уголовников погибла в штрафбатах. И даже те бывшие пленные, которым удалось доказать свою невиновность и как-то оправдаться, в течение долгих лет еще несли на себе клеймо «изменника родины».

Ну и, наконец, последняя группа, связанная с этим периодом: «советские патриоты».

Это те русские люди, которые уехали из России с первой волной эмиграции. В нее входило несколько миллионов человек, расселившихся по всей Европе. Когда шло освобождение стран Восточной Европы, органы СМЕРШ выявляли этих, так называемых «советских патриотов» (а надо сказать, что многие из них участвовали в Сопротивлении, боролись с гитлеровцами) и осуждали их за измену Родине, осуждали даже их детей, которые и родились-то за границей.

В послевоенное время началась кампания «повторников», в ходе которой брали тех, кто в период ежовщины получал десять (редко) или пятнадцать лет и, скажем, в 1947 году часть тех, кто не погиб на лесоповалах и в шахтах, выходили из лагерей. Они получали бумагу типа волчьего билета: запрет

на жительство в крупных городах Советского Союза — «минус 135», «минус 140». Они могли жить только в местах спецпоселений, где один раз в две недели отмечались в комендатуре. Через год-полтора их начинали снова арестовывать, говоря примерно так: «Вас посылали в лагеря не на исправление, а на уничтожение. А вы вот выжили. Так получайте же по новой!».

И они получали по новой, вплоть до 25 лет, за те же самые преступления, за которые уже отсидели. Конкретного человека, как и многих других, направляли в специально к тому времени созданные спецлагеря. Это был уже тот период, когда сталинский режим действительно начал агонизировать. Иного слова и не подберешь.

Спецлаг можно сравнить, и я не побоюсь этого слова, с немецко-фашистскими концлагерями. Это был особо строгий, особо режимный лагерь. Раскиданные по всей территории ГУЛАГа, они были замаскированы безобидными названиями: БЕРЛАГ, береговой лагерь, система колымских лагерей; РЕЧЛАГ — речной лагерь, система воркутинских лагерей; ОЗЕРЛАГ — озерный лагерь, система тайшетских лагерей; СТЕПЛАГ — степной лагерь, казахстанские лагеря и т. д.

Заключенные в спецлагах были только обладатели 58-й статьи. У них исчезали фамилии. Появились номера: на шапке, на правой ноге и на спине. В течение всего пребывания в спецлаге заключенному внушалась мысль, что он не человек. Его превращали попросту в рабочую скотину. Его выводили на работу из барака, потом кормили и закрывали в бараке на ночь. По зоне ходить было запрещено. За малейшую провинность — новый срок. Всяко действовали бараки и зоны усиленного режима, штрафные изоляторы и так далее. Спецлаг не подчинялся практически никому, кроме своего управления в Министерстве госбезопасности.

Охрану меняли каждые два месяца. Хотя солдаты охраны подвергались усиленному «промыванию мозгов», хотя им было запрещено переговариваться с заключенными, но рано или поздно им становилось ясно, что подавляющее большинство из тех, кого они охраняли, — люди, попавшие в спецлаг по ложным и надуманным обвинениям. Конечно, надо сказать, что там были и фашисты, и предатели, и полицаи, но

не они составляли основную массу заключенных.

Самым страшным в спецлагере были не какие-то, допустим, изощренные пытки и издевательства, а то, что вся лагерная система была направлена на унижение и уничтожение человека, хотя и издевательства хватало. Не случайно после смерти Сталина первыми восстали заключенные спецлагеря — в Джезказгане в 1953 году, в Воркуте в 1954 году и так далее. Заключенным спецлагеря нечего было терять. Они даже не имели возможности когда-либо освободиться, потому что спецлагсуд все время добавлял сроки.

Особая тема разговора — репрессии в отношении народов и народностей, это проблема, которая еще ждет своего тщательного изучения.

В период Отечественной войны напроць исчезло 6 автономных республик. Первой была Автономная Советская Социалистическая Республика немцев Поволжья (Указ от 23 августа 1941 года). Около полутора миллионов человек было выслано и рассеяно по Казахстану, Средней Азии, Дальнему Востоку по надуманным обвинениям, что, мол, буквально все население готовится встречать немецких парашютистов.

Дальше в порядке очередности исчезали следующие республики: Крымско-Татарская АССР, Карачаево-Черкессия, Калмыкия, Кабардино-Балкария, Чечено-Ингушетия.

В 1957 году всем этим республикам была возвращена их автономия, но до сих пор на карте Союза нет автономных республик немцев Поволжья и крымских татар.

С такой же безжалостностью Сталин относился и к другим малым народностям, выселив только из Прибалтики

37 тысяч эстонцев, более 200 тысяч латышей, более 134 тысяч литовцев. Высылки эти осуществлялись даже не по каким-то законам, а просто по директивным указаниям и установкам, постановлениям МГБ. И до сих пор неизвестны все судьбы высланных, сколько погибло, сколько возвратилось.

Заканчивая свой рассказ, я хотел бы затронуть ту тему, относительно которой ко мне часто поступают вопросы: осуждение и реабилитация Солженицына — достаточно типичная история тех лет. Арестованный в 1945 году командир батареи А. И. Солженицын обвинялся в том, что проводил среди своих знакомых антисоветскую агитацию, предпринимал меры для создания антисоветской организации.

Протест главного военного прокурора, который Военная коллегия Верховного суда СССР сочла возможным удовлетворить, полностью опровергает эти обвинения. Солженицын, дважды награжденный боевыми орденами, неоднократно проявлял личный героизм; его подразделение считалось лучшим в части по дисциплине и боевым действиям.

Точка зрения А. И. Солженицына, которую он высказывал в своем дневнике и в письмах к другу, ни в малой степени не содержит состава преступлений, по которым он обвинялся.

В 1957 году он был полностью реабилитирован, и дело в его отношении было прекращено¹.

Вот лишь краткий абрис того, во что обошлась народу и стране сталинщина.

¹ Полностью текст постановления о реабилитации А. И. Солженицына опубликован в журнале «Нева», 1988, № 12.

КАРТОТЕКА ЮРАСОВА



1. АБЕЛЬ Волдемар Иванович (1898—10 января 1938 «ВМН» [высшая мера наказания])
Член КПСС с 1917 года. Начальник политотдела Балтийского пароходства. Арестован 10 ноября 1937 года, расстрелян по постановлению «двойки». Жена Эльза Юрьевна репрессирована как «ЧСИР» [член семьи изменника Родины]. Через ОСО при НКВД получила 5 лет.
2. АБОЛ Иван Иванович (1895—1938)
Член КПСС с 1917 года. Участник Октябрьской революции в Москве. Работал в Москве в Институте транспорта. Посмертно реабилитирован.
3. АБОЛИН Роберт Иванович (1886—1938)
Ученый-селекционер, генетик, ботаник, почвовед, географ. Работал в Средней Азии. Доцент Ташкентского госуниверситета. Посмертно реабилитирован.
4. АБОЛИН Ян Давыдович (1876—1937)
Член КПСС с 1906 года. Член Всесоюзного общества ссыльно-поселенцев и политкаторжан. В революционном движении с 1905 года. Посмертно реабилитирован в 1982 году.
5. АБОЛТИН Емельян Яковлевич (1878—1938)
Член КПСС с 1902 года. Член Всесоюзного общества старых большевиков (1933 г.). Посмертно реабилитирован.
6. АВЕН Ян Юрьевич (1896—1952)
Член КПСС с 1917 года. Начальник строительства шоссежных дорог ДВК. Репрессирован в 1937 году.
7. АННИ Вольдемар Густавович (1891—1937)
Член КПСС с 1912 года. Посмертно реабилитирован.
8. АПИН Роберт Андреевич (1892—1938)
Член КПСС с 1912 года. Дивизионный комиссар (1935 г.). Участник гражданской войны.
9. АУБЕРГ Ян И. (1889 — год смерти неизвестен)
Член КПСС с 1918 года. Участник гражданской войны. 1921—1937 гг. — начальник хозяйственной группы Управления делами СНК РСФСР и СССР. Незаконно репрессирован в 1937 году. Реабилитирован в 1956 году.
10. АУГУЛ Альфред Иванович (1898—1937)
Член КПСС. Комдив (1936 г.). Начальник отдела НКВД СССР.
11. АУГУЛ Екаб (1874—1938)
Член КПСС с 1904 года. Участник революции 1905—1907 гг. в Латвии. В 30-е годы на партийной работе в СССР. Арестован в 1937 году. Посмертно реабилитирован в 1956 году.
12. АУГУЛ Рудольф Янович (!—19 декабря 1937 «ВМН»)
Член КПСС. Начальник МТС в Челябинской области (1936 г.).
13. РОЗИТ Давид Петрович (1895—1937)
14. АУШКАП Ян Петрович (1894 — год смерти неизвестен)
Член КПСС с 1917 года. Контролер химической промышленно-

- сти Комитета советского контроля при СНК СССР [1936 г.]. Арестован в 1937 году.
15. АУЗА Эдуард Янович (1902 — год смерти неизвестен)
Рядовой Военно-морского строительного управления МВД СССР. В 1946 году был репрессирован, осужден на 10 лет. Реабилитирован.
 16. АУЗИН Эдуард Давыдович (1877—1938)
Член КПСС с 1905 года. Член Всесоюзного общества ссыльно-поселенцев и политкаторжан с 1934 года. Участник революции 1905—1907 гг. в Латвии. С 1922 года в СССР, работал в Сибири, в Москве. Пал жертвой репрессий в 1937 году. Посмертно реабилитирован.
 17. АУЗИНЬ Амалия Яновна (1890—1943)
Член КПСС с 1905 года. Участник Октябрьской революции в Петрограде. Незаконно репрессирована в 1937 году. Посмертно реабилитирована.
 18. АУРЕ Рихард Карлович (1880—1937 [1942 ?])
Член КПСС с 1905 года. Член Всесоюзного общества ссыльно-поселенцев и политкаторжан [1934 г.] Арестован в 1937 году. Посмертно реабилитирован.
 19. БААР Густав Иванович (1892—1937 «ВМН»)
Член КПСС с 1917 года. Участник гражданской войны. В РККА с 1918 года. Занимал различные посты в РККА.
 20. БААРЭ Иван Ансович (1894—1937 «ВМН»)
Член КПСС с 1917 года. Участник гражданской войны. В РККА с 1918 года, латышский стрелковый полк. В 1928 году — штаб Белорусского военного округа, с 1931 года — ГУРККА.
 21. БАУЭР Жан Янович (1892—1938)
Член КПСС с 1913 года. Участник революционного движения на Украине. На партийной работе. Незаконно репрессирован в 1937 году. Посмертно реабилитирован.
 22. БЕЙКА Давид Самуэлевич (1885—1946)
Член КПСС с 1903 года. Участник революции 1905 года, Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны в Испании. Арестован 20 апреля 1938 года, осужден 29 апреля 1939 года. Умер в исправительно-трудовом лагере (ИТЛ). Посмертно реабилитирован 25 февраля 1956 года.
 23. БЕЙКА Янис Самуэлевич (1889—1937)
Член КПСС с 1909 года. Командир полка особого назначения, затем дилкурьер. Арестован в ноябре 1937 года, по статье 58 УК приговорен к расстрелу. Посмертно реабилитирован в 1956 году.
 24. БЕЛАЙС Ян Янович (1894—14 декабря 1936 «ВМН»)
Член КПСС с 1912 года. Арестован 7 июля 1936 года, до ареста начальник плано-экономического бюро штамповочно-механического цеха завода им. Сталина. Посмертно реабилитирован в 1957 году.
 25. БЕЛАЙС Зелма Петровна (1899—1945)
Член КПСС с 1919 года. Жена Я. Я. Белайса, до ареста 19 июля 1937 года — нарядчик гаража Главного управления кинофото-промышленности. ОСО при НКВД 10 октября 1937 года приговорена к 10 годам ИТЛ. Умерла 28 февраля 1945 года.
 26. БИЛЕВИЧ Павел Францевич (1882—1937)
Член КПСС с 1904 года. Член Всесоюзного общества ссыльно-поселенцев и политкаторжан [1933 г.] Работал в Хабаровске с 1933 по 1937 год. Незаконно репрессирован в 1937 году. Посмертно реабилитирован в 1956 году.
 27. БИРЭЕ Ян Фрицевич (!—1937)
Член КПСС с 1905 года. Член Всесоюзного общества старых

- большевиков (1933 г.). Незаконно репрессирован в 1937 году. Посмертно реабилитирован.
28. БИРЗНЕК Яков Янович (1884—1942)
Член КПСС с 1904 года. Член Всесоюзного общества старых большевиков. Незаконно репрессирован в 1937 году. Посмертно реабилитирован.
 29. БИРКЕНХОФ Александр (1891—1937)
Член КПСС с 1917 года. На дипломатической работе; с 1936 года — в СССР. Необоснованно репрессирован в 1937 году. Реабилитирован посмертно.
 30. БИРКМАН Давид Карлович (1862—1937)
Член КПСС с 1904 года. На хозяйственной работе в г. Москве. В 1937 году необоснованно репрессирован. Посмертно реабилитирован.
 31. БЛУКИС Ян (1879—1938)
Член КПСС с 1905 года. Работал в РСФСР. С 1933 года — на пенсии. В 1937 году незаконно репрессирован. Посмертно реабилитирован.
 32. БЛУМБЕРГ Анс Ансович (?—1937)
Член КПСС. В 30-е годы — заместитель торгпреда СССР в Польше. В 1937 году незаконно репрессирован. Посмертно реабилитирован.
 33. БЛЮМ Карл (1901—1937)
Член КПСС с 1917 года. Был направлен на подпольную работу в Латвию. С 1929 года жил и работал в Москве. Незаконно репрессирован в 1937 г. Посмертно реабилитирован.
 34. БЛЮМЕ Лина Ивановна (1883—1940)
Член КПСС с 1905 года. Член Всесоюзного общества старых большевиков (1933 г.). Участница революционного движения в Латвии. С 1924 года жила и работала в Москве. Незаконно репрессирована. Посмертно реабилитирована.
 35. БРИВКАЛН Янис (1892—1938)
Член КПСС. Участник гражданской войны, военный деятель. В 1937 году незаконно репрессирован. Посмертно реабилитирован.
 36. БРИНКМАН Лилия Петровна (1901—1937)
Директор детского дома им. К. Маркса.
 37. БРОКМАН (КРЕВИН) Янис (1883—1941)
Член КПСС с 1905 года. Участник революционного движения в Латвии. В 30-х годах пенсионер, жил в Туле.
 38. БУШ Артур Яковлевич (1903—25 января 1939)
Инженер в Москве. Арестован 30 июля 1937 года. Расстрелян по постановлению «двойки». Посмертно реабилитирован в 1956 году.
 39. ВАЛЬК Оскар Иванович (?—1937 «ВМН»)
Начальник Управления НКПС СССР.
 40. ВАЛЬТЕР Андж Янович (?—1937)
Член КПСС с 1904 года. Член Всесоюзного общества старых большевиков (1933 г.). Незаконно репрессирован в 1937 году. Посмертно реабилитирован.
 41. ВАЛЬТЕР Оскар Андреевич (?—1938)
Член КПСС. Член Верховного суда. До 1938 года на судебной работе. Незаконно репрессирован. Посмертно реабилитирован.
 42. ВАЛЬТЕР Федор Федорович (1899—1937)
Начальник спецпроектбюро завода «Красный рабочий» в Ленинграде. Незаконно репрессирован и расстрелян в 1937 году. Реабилитирован посмертно.
 43. ВАЛЬТЕР Фридрих Иванович (1897 — год смерти неизвестен)
Дежурный по станции Машук Орджоникидзевской железной до-

- роги. Репрессирован в 1937 году, осужден на 10 лет ИТЛ. Реабилитирован посмертно.
44. ВЕЙНБАУМ Эрнст Иванович (1898—29 июля 1937 «ВМН») Член КПСС с 1917 года. Председатель финансовой группы Комитета советского контроля при СНК СССР.
 45. ВЕЦГАЙЛИС Альфред Юрьевич (1889—19 июня 1937 «ВМН») Математик, работал в Коммунистическом университете национальных меньшинств Запада. Арестован в 1937 году.
 46. ВИЛЬНИС Ян Георгиевич (1881—1940) Председатель кооперативной артели № 4 г. Москвы. Арестован 16 марта 1938 г., приговорен ОСО при НКВД к заключению в ИТЛ 8 июня 1938 года. Умер в лагере.
 47. ВОЛУТ Вилис Семенович (1894—1938) Член КПСС с 1912 г. Делегат XVII съезда от Ленинградской партийной организации. Арестован в 1937 году. Посмертно реабилитирован.
 48. ГИБЕРТ Иван Иванович (1902—5 декабря 1937 «ВМН») Начальник отдела на станции Ясиноватая.
 49. ГИБЕРТ Иван Мартынович (1878—1938 «ВМН») Работал на мукомольном предприятии г. Уфы. Отец И. И. Гиберта.
 50. ГИБЕРТ Эльза Яковлевна (1905 — год смерти неизвестен) Арестована в Донецке в 1937 году. Осуждена на 10 лет ИТЛ.
 51. ГЛУЗДЕ Эрнест (1880—1937) Член КПСС с 1904 года. Участник революционного движения в Латвии. С 1929 по 1937 год на советской и хозяйственной работе в г. Великие Луки. Пал жертвой репрессий. Посмертно реабилитирован в 1956 году.
 52. ГОЛЬДШМИТ Гетта Вениаминовна (1901—1948). Уроженка Риги. Член КПСС с 1918 года. Участница гражданской войны. В 1936 г. — преподавательница политэкономики в г. Николаеве, в 1937 г. — заведующая областной школой пропагандистов в г. Одессе. Арестована в г. Одессе вместе с мужем, осуждена на 10 лет ИТЛ. Посмертно реабилитирована.
 53. ГРАВЕЛСИН Август Францевич (1871—1938) Член КПСС с 1905 года. Член Всесоюзного общества старых большевиков (1933 г.), жил в г. Москве. Незаконно репрессирован в 1937 году. Посмертно реабилитирован.
 54. ГРОБИН Петр Янович (1894—1938) Член КПСС с 1918 года. Работал в правлении Госбанка (Москва). Незаконно репрессирован в 1937 году, посмертно реабилитирован.
 55. ГРОБИНА Эмма Яновна (1897 — год смерти неизвестен) Жена Гробина П. Я. В 1937 году арестована НКВД как ЧСИР, осуждена на 5 лет ИТЛ.
 56. ГРОМАН Юлий Августович (1876—1937) Работал в Химотделе ВСНХ, Центрорезине, с 1919 года в Наркомате внешней торговли. Пал жертвой репрессий. Посмертно реабилитирован.
 57. ГРУНДЭ Карл Мартынович (?—1937) Член КПСС. Полковник (1935 г.), участник гражданской войны. Пал жертвой репрессий 1937 года. Посмертно реабилитирован.
 58. ГРУНТ Теодор (1888—1937) Член КПСС с 1906 года. Участник революционного движения в Латвии. В 1936—1937 гг. жил и работал в Москве. Пал жертвой репрессий. Посмертно реабилитирован.
 59. ГРУНТ Фридрих (1885—1937) Член КПСС с 1917 года. Незаконно репрессирован в 1937 году. Посмертно реабилитирован.

60. **ГУЛБИС Николай Андреевич** (1901—19 октября 1938 «ВМН») Корректор в типографии г. Москвы. Арестован 1 апреля 1938 года. Посмертно реабилитирован в 1960 году.
61. **ДАУБЭ Вольдемар Петрович** (1895—1950) Член КПСС с 1913 года. Участник революционного движения в Белоруссии. В 30-е годы на руководящих постах в ОГПУ—НКВД. Арестован в 1937 году.
62. **ДАУГЕ-РЕЙСНЕР Лев Павлович** (1903—1937) Сын П. Г. Дауге, члена КПСС с 1903 года. Член КПСС. Занимал командные посты в РККА. Незаконно репрессирован в 1937 г. Посмертно реабилитирован.
63. **ДАУГОВЕТ Карп Петрович** (1910 — год смерти неизвестен) Незаконно репрессирован в 1937 году, осужден на 10 лет ИТЛ. Реабилитирован.
64. **ДЗЕНИС Адам Вилисович** (1891—14 сентября 1937 «ВМН») Член КПСС с 1910 года. Член Всесоюзного общества ссыльно-поселенцев и политкаторжан (1933 г.) Незаконно репрессирован в 1937 году. Посмертно реабилитирован.
65. **ДЗЕНИС Освальд Петрович** (1896—15 декабря 1937 «ВМН») Член КПСС с 1915 года. Член-корреспондент АН УССР, президент Украинской ассоциации марксистско-ленинских институтов.
66. **ДОЗИТ Карп Мартынович** (1894—7 февраля 1938) Член КПСС с 1916 года. Полковник, начальник штаба Московской школы железнодорожных войск. Осужден Военной коллегией.
67. **ДРУСКИС Франц Семенович** (?—1937 «ВМН») Член КПСС с 1917 года. Начальник Забайкальской железной дороги.
68. **ЗАККИТ Вольдемар Карлович** (1886—1943) Участник гражданской войны. Инженер-строитель. Работал в Туапсе. Арестован 15 февраля 1935 года, осужден на пять лет ИТЛ. Освобожден в 1940 году, снова арестован 11 января 1943 года, погиб в Уфимской тюрьме.
69. **ЗВИРБУЛЬ Адольф Юрьевич** (1895—1937 «ВМН») Заместитель начальника службы движения Сталинградской железной дороги.
70. **ЗИВЕРТ Юрий Иванович** (1883 — год смерти неизвестен) Старший инженер теплогруппы «Мосэнерго». В 1933 году репрессирован ОГПУ СССР. Оправдан по суду.
71. **ИНДРИКИС (ШНЕЙДЕР) Фриц** (1881—1937) Журналист.
72. **КАЛЫНЬ Ян Антонович** (1902—1938) Прозаик, публицист.
73. **КАРЛСОН Карп Мартынович** (1888—1938) Член КПСС с 1906 г. Расстрелян.
74. **КИКУТ Петр Рудольфович** (1907—11 сентября 1937) Поэт, прозаик, переводчик. Член Ленинградского отделения СП СССР.
75. **КОПП Леонтина Карловна** (1898—25 января 1938 «ВМН») Персональный пенсионер, жила в Москве. Арестована в 1937 году.
76. **КРУМС Павел Михайлович** (1901—7 сентября 1938) Член КПСС с 1919 года. Работал в МВТУ им. Н. Баумана.
77. **КРУСТКАЛН Роберт Яковлевич** (1894—1937 «ВМН») Партийный работник в Ленинграде.
78. **ЛЕЙМАН Альберт Мартынович** (1901—2 октября 1938 «ВМН») Член КПСС с 1928 года. Участник гражданской войны. С 1933 года — начальник поливного цеха фабрики «Фотоластинка». Арестован 31 марта 1936 года в г. Москве.
79. **ЛЕЙСТ Мартин Мартынович** (1898 — год смерти неизвестен) Зав. палаткой № 14 пищеторга г. Шелково. Осужден 29 июля

1937 года к расстрелу. Посмертно реабилитирован 16 июня 1956 года.

80. **ЛИБЕРСОН Эдуард Карлович** (1890—11 сентября 1938 «ВМН») Коммерческий директор завода «Донсода» Донецкой области. Арестован в 1938 году. Посмертно реабилитирован в 1957 году.
81. **ЛЮТЕР Иван (Ян) Генрихович** (1883—1938)
Один из основателей Лат. СДРП, член ее ЦК в 1905—1906 гг. После Октября 1917 г. на ответственной хозяйственной работе в Ленинграде (в системе Наркомлеса). Член ВКП(б), представитель Латсекции Коминтерна в Ленинграде и области. Арестован в июле 1937 г. по обвинению в создании «латышского контрреволюционного центра» в Ленинграде. Постановлением НКВД от 26 января 1938 г. приговорен к 10 годам без права переписки. Расстрелян в феврале (марте!) 1938 г. Посмертно реабилитирован.
82. **ЛЮТЕР Юрий Иванович** (1914—1945!)
Студент IV курса Ленинградского института инженеров водного транспорта, комсомолец. Арестован в октябре 1937 г. Проходил по делу отца. Постановлением НКВД СССР от 30 декабря 1937 года приговорен к 10(!) годам заключения. Погиб в лагерьх в апреле 1945(!) г. Посмертно реабилитирован.
83. **ЛЮТЕР Эрнст Генрихович** (1893—1940)
Участник гражданской войны, латышский стрелок, секретарь Реввоенсовета XV армии. В 20—30-е гг. на военной и партийной работе (начальник Политотдела МТС, первый секретарь Полярного РК партии в Мурманске и т. д.). Арестован в Ленинграде в июле 1937 г. Приговорен к 10 годам заключения. Находился вначале в Дальлаге, г. Владивосток, 6-й километр, Транзитная командировка С. В. И. Т. Л. НКВД, 3/К. Потом был переведен в б. Находка, где и умер в тюремной больнице в августе 1940 г. Посмертно реабилитирован.
84. **ЛЮТЕР Роберт Генрихович** (1895—1945!)
Участник гражданской войны, член Ревтрибунала армии Сов. Латвии в 1919 г., латышский стрелок. После, в 20—30-е гг., на советской работе в Ленинграде (зам. председателя Леноблсуда, начальник отдела кадров Ленсовета и др.). Арестован в октябре 1937 г., проходил по делу брата Ивана (Яна) Лютера. Постановлением НКВД СССР от 10 января 1938 г. приговорен к 10(!) годам заключения. Погиб в лагерьх в декабре 1944 г. (!). Посмертно реабилитирован.
85. **МАЛЬТЕ Владимир Владимирович** (1890—1937)
Член КПСС. Начальник Азово-Черноморского крайуправления коммунального хозяйства.
86. **МЕЗИС Николай Карлович** (1885—18 января 1938 «ВМН») Участник гражданской войны. Полковник РККА. Командир стрелкового полка Киевского военного округа. Арестован в 1937 году.
87. **МИЛЛЕР Эмиль Карлович** (1894—12 августа 1938 «ВМН») Член Коммунистической партии США. Приехал в СССР в 1926 году. До ареста — столяр в Москве. Посмертно реабилитирован в 1956 году.
88. **МУНДЕЦИЕМ Ганс Адамович** (1888—19 мая 1938 «ВМН») Член КПСС с 1919 года. В 1936—1938 гг. работал в Комитете советского контроля при СНК СССР.
89. **МУРНЭК Петр Петрович** (1897—1938)
Зав. отделом народного образования города Серпухова. Арестован 3 января 1938 года, осужден Военной коллегией 11 февраля 1938 года.
90. **МУЦЕНИЕК Анс Янович** (1891—9 октября 1938)
Агротехник Гдовской колхозной опытной станции. Осужден «особой тройкой» Ленинградской области.

91. **НОДЕВ Освальд Янович (1896—1938)**
Начальник Харьковского областного управления НКВД в 1936 году. Арестован в 1937 году.
92. **ОБИДКО Эдуард Казимирович (?—1937 «ВМН»)**
Военный работник.
93. **ПАУЛЬ Иван Яковлевич (?—1937 «ВМН»)**
Член КПСС с 1916 года. Участник гражданской войны. Комбриг.
94. **РЕППЕ Анна Матвеевна (1893—1970)**
Член КПСС с 1917 года. Незаконно репрессирована в 1937 году.
95. **РЕППЕ Мильда Матвеевна (1904—1985)**
Сестра Релле А. М. Репрессирована в 1937 году как ЧСИР.
96. **РОХИ Вильям Юрьевич (1891—1938 «ВМН»)**
Член КПСС с 1913 года. Участник гражданской войны. Комдив (1935 г.). Делегат XVI съезда ВКП(б). Награжден орденом Ленина (1936 г.). Арестован 15 мая 1937 года.
97. **СОМС Карл Петрович (1894—5 апреля 1938 «ВМН»)**
Член КПСС с 1910 года. Начальник политуправления Народного комиссариата совхозов СССР. Арестован 1 декабря 1937 года.
98. **КРУМИН Янис Яковлевич (1897—1943)**
Писатель. Член КПСС, член ССП СССР (1934). Окончил институт журналистики в г. Москве. Жил в Ленинграде. Незаконно репрессирован в 1937 году, умер в Якутии.
99. **ПУКСТ М. К (?—1937)**
Член КПСС. Заместитель начальника Одесской железной дороги.
100. **СМУРГИС Юлий Давыдович (1895—15 апреля 1938 «ВМН»)**
Член КПСС. Директор Центральной строительной библиотеки г. Москвы. Арестован 12 декабря 1937 года. Посмертно реабилитирован.
101. **ТАЛБЕРГС Август Якубович (1897 — год смерти неизвестен)**
Крестьянин-единоличник Вентспилсского района Латв. ССР. В 1946 году репрессирован, осужден на 10 лет ИТЛ. Реабилитирован.
102. **ТАРТО Феликс Янович (1898 — год смерти неизвестен)**
Участник гражданской войны. В 1942 году репрессирован, осужден на 10 лет ИТЛ. Реабилитирован.
103. **ТАУБЕ Иоганн Карлович (?—1937)**
Член КПСС. Участник гражданской войны. В РККА с 1918 года. Полковник (1935 г.). Необоснованно репрессирован в 1937 году. Посмертно реабилитирован.
104. **ТАУКЛИС Адам Антонович (1891—1937)**
Член КПСС с 1917 года. В 1936 г. — заместитель начальника Донецкой железной дороги. Пал жертвой репрессий в 1937 году. Посмертно реабилитирован.
105. **ТРЕЙН Карл Карлович (1900—1937)**
Участник гражданской войны. Писатель. Член Ленинградского отделения СП СССР.
106. **ФИГЕ Карл Янович (1897—5 июня 1937 «ВМН»)**
Член КПСС с 1916 года. Начальник Дарасунской автобазы Ханчераггинского оловокомбината.
107. **ШАРФС Эдуард Кондратьевич (1891—1938 «ВМН»)**
Главный инженер Главметиза НКТП СССР. Арестован 30 декабря 1938 года в Москве. Осужден Военной коллегией в 1938 году. Посмертно реабилитирован.
108. **ШЕЛЬ Эдуард Иванович (1900—11 апреля 1938 «ВМН»)**
Рабочий шпалолропноточного завода на Омской железной дороге. В 1937 году арестован и осужден за «шпионаж».
109. **ШТЕЙНБРЮК Отто Оттович (1892—21 августа 1937 «ВМН»)**
Член КПСС с 1917 года. Начальник отдела Главного разведуправления РККА. Корлуной комиссар (1935 г.). Арестован в 1937 году.

110. ШУБИН Арнольд Янович [1896 — год смерти неизвестен]
Член КПСС с 1917 года. Участник Октябрьской революции в Петрограде, гражданской войны. Педагог. Делегат XVI съезда ВКП(б) (1930 г.). Незаконно репрессирован в 1937 году. Реабилитирован.
111. ЭГЛИТ Мартын Адамович [1886—1937]
Член КПСС с 1904 года, участник революционного движения в Латвии. Член Всесоюзного общества старых большевиков (1933 г.). Жил в Москве. Пал жертвой репрессий. Посмертно реабилитирован.
112. ЭГЛИТ Христофор Мартынович [?!—1938]
Член КПСС с 1903 года, участник революционного движения в Латвии. Член Всесоюзного общества старых большевиков (1933 г.). Жил в Москве. Необоснованно репрессирован. Посмертно реабилитирован.
113. ЭЗЕРГАЙЛИС Август Янович [1893—1938]
Член КПСС с 1914 года, участник революционного движения в Латвии. Необоснованно репрессирован в 1937 году. Посмертно реабилитирован.
114. ЭЙЛАНД Петр Янович [1893—12 сентября 1938 г.]
Член КПСС с 1910 года, участник гражданской войны. В 1937 году необоснованно репрессирован, посмертно реабилитирован.
115. ЭЙХВАЛЬД Криюл Янович [1885—1937]
Член КПСС с 1907 года. Член Всесоюзного общества ссыльно-поселенцев и политкаторжан (1930 г.). Необоснованно репрессирован в 1937 году. Посмертно реабилитирован в 1956 году.
116. ЭЙДУК Ян Юрьевич [1897—18 августа 1938 «ВМН»]
Член КПСС с 1916 года. Член СП СССР с 1934 года. Сотрудник ленинградских журналов.
117. ЭЛЬФЕРТ Ян Янович [1889—15 июля 1937 «ВМН»]
Член КПСС с 1907 года. Начальник политотдела МТС на Северном Кавказе (1933 г.). Необоснованно репрессирован в 1937 году, посмертно реабилитирован.
118. ЮРШЕВИЧ Ян Вильевич [1876 — год смерти неизвестен]
Член КПСС с 1906 года. Член Всесоюзного общества ссыльно-поселенцев и политкаторжан (1930 г.). Участник революционного движения в России. Арестован предположительно в 1937 году.
119. ЮРЬЯН Петр Петрович [1885—1937]
Член КПСС с 1907 года. Член Всесоюзного общества ссыльно-поселенцев и политкаторжан (1930 г.). Участник революционного движения в Латвии. Необоснованно репрессирован в 1937 году. Посмертно реабилитирован.
120. ЯКОБСОН Владимир Эдуардович [?!—1938]
Член КПСС. Чекист. Работал в аппарате НКВД СССР. Незаконно репрессирован, погиб.
121. ЯКОБСОН Карл Яковлевич [1886—1937]
Член КПСС с 1905 года. Участник революционного движения в России. Пал жертвой репрессий 1937 г. Посмертно реабилитирован.
122. ЯНСОН Мильда Яновна [1896—19 апреля 1938 года «ВМН»]
Член КПСС с 1918 года, участник революционного движения в Латвии. Окончила Коммунистический институт имени Свердлова, была на дипломатической работе. Пала жертвой репрессий в 1937 году. Посмертно реабилитирована.
123. ЯУНСЛЕЙН Герман Петрович [1889—18 ноября 1937 «ВМН»]
Член КПСС с 1906 года. Начальник правления Музтреста (Ленинград). Арестован в 1937 году.

(Продолжение следует)

НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОР ИЗВЕСТЕН

Просматривая ваш журнал, я обнаружила в статье Алексея Ивлева «Изломанности» («Даугава», 1988, № 9) следующий пассаж:

«Один дотошный критик заметил — Гребенщиков заменил в тексте народной песни «Город золотой» «стену» на «звезду», не поняв поэтической ценности сокровенного . . .» и т. д.

Однажды я уже была неприятно удивлена тем, что на пластинке «АССА» песня «Над небом голубым . . .» (а не «Под небом . . .» — еще одна редакторская правка Гребенщикова) — была названа народной. Когда же на основании этого два критика начинают рассуждать о духовном прозрении и мудрости народной — сдержаться не могу.

Вынуждена разочаровать А. Ивлева и его, как выясняется, не очень дотошного коллегу, ибо эти стихи написаны русским поэтом Алексеем Хвостенко, сейчас живущим в Париже, в 70-х годах нашего века. Музыка, правда, старинная, но тоже имеет автора — это итальянский композитор XVI века Франческо ди Милано. Эту мелодию Хвостенко услышал на чрезвычайно популярной в те годы пластинке «Лютневая музыка». Для своих песен он использовал еще несколько мелодий с этих пластинок, в частности «Тамбурин» Рамо и английскую песню «Зеленые рукава».

Позволю себе усомниться в том, что Б. Гребенщиков всего этого не знает, поскольку в последние годы песни Хвостенко были очень популярны в Ленинграде и авторство «Хвоста» общеизвестно.

Кстати, думаю, что автором поняты все «сокровенные образы» его стихов, так как все они, в том числе сказочные животные, взяты им из «Откровений Иоанна Богослова, проще говоря, из Апокалипсиса, так что город с яркою стеной находится именно «над небом голубым», а никак не под ним.

С уважением О. ЮШИНА (Москва)

Р. С. Несколько лет назад по «Голосу Америки» прошла передача о триумфальном концерте А. Хвостенко в Париже, длившемся с 7 вечера до 12 ночи. Закончилась эта передача песней «Над небом голубым . . .» в исполнении автора.

УЛИЦА ЕВГЕНИИ ГИНЗБУРГ!

Уважаемая редакция!

Хроника времен культа личности «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург превзошла уже сейчас все мои ожидания. Она выигрывает в сравнении с романом Анатолия Рыбакова «Дети Арбата» — ибо она — документ. Только за одну эту хроникку Евгения Гинзбург достойна самой высшей правительственной награды (посмертно). Это мужественная и настоящая женщина. Было бы справедливо переименовать одну из улиц города Казани — назвать ее именем. Союз писателей мог бы помочь издать книгу отдельным изданием. Народ за это скажет только спасибо!

Если у вас есть возможность, напишите, пожалуйста, адрес дочери Евгении Гинзбург. Мне хочется больше знать об этом человеке.

С уважением
Анатолий ЖУРАВСКИЙ (Ангарск)

Уважаемый тов. Журавский!

Книга Евгении Гинзбург «Крутой маршрут» запланирована издательством «Советский писатель» на 1990 год. Кроме того, мы собираемся выпустить ее в приложении к «Даугаве» в ближайшее время.

Что касается приемлации дочери Евгении Семеновны — Антонины Аксеновой, то она — актриса Минского русского драматического театра.

Отдел прозы

ВОКРУГ «ЛОЛИТЫ»

Уважаемая редакция!

«Литературная газета» анонсировала публикацию пьесы Ольги по «Лолите» Набокова в вашем журнале в 1989 году. У меня в связи с этим возник вопрос — а почему бы вам не напечатать собственно «Лолиту»? Все равно ее кто-нибудь да опубликует, так не стать ли вам первым публикатором? А то как-то нелогично публикуется — пьеса по мотивам произведения печатается, а само произведение — нет.

Алексей СЕРГЕЕВ (Ленинград)

Уважаемый тов. редактор!

Обращаюсь к Вам с просьбой, к которой присоединяются очень многие знакомые мне люди: если ваш журнал действительно принял решение печатать роман В. Набокова «Лолита», то вернитесь к этому вопросу и подумайте о том, что при выборе произведения для публикации не всегда коммерческие соображения должны преобладать над соображениями иного порядка. Роман «Лолита», в котором большое место занимают порнографические сцены и сексуальная патология (нимфомания), был написан с чисто коммерческой целью (см. интервью Дж. Сименона в «Огоньке» за 1987 год). В недавнем интервью в ЛГ писатель Дудинцев, лауреат Гос. премии, назвал книгу «агитацией за садизм», а самого Набокова «мерзким стариком» именно за этот роман. Нельзя с ним не согласиться всем, кто заботится о духовном здоровье нашего общества, и особенно молодежи.

Мне по роду своей работы приходилось читать много иноязычной литературы и проследивать ее влияние на формирование личности читателя. Вам также должно быть известно то сильнейшее эмоциональное воздействие, которое этот роман оказал на Западе. Он принес Набокову желаемое улучшение его материального положения, принес известность, т. е. выполнил поставленные самим автором цели. Но, как выразился автор одной из рецензий в английской газете: «Набоков швырнул в наше общество бомбу незамедленного действия». Теперь Вы хотите швырнуть эту бомбу в наше общество? За ч е м?!

Представление о Набокове как о талантливом писателе, сохранившем для нас прекрасный русский язык, мы получили из других его публикаций. Мы не ханжи, мы с интересом читали его «Защиту Лужина», «Приглашение на казнь», рассказы, эссе о Гоголе, Пушкине, Чернышевском и др. Но зачем «Лолита»? Только потому, что этот деловой человек предусмотрительно сделал авторский перевод? Зачем прокладывать в наши журналы путь таким произведениям, замысел и содержание которых явно противоречат исконным традициям настоящей, большой литературы, которые должны сохраняться всегда и особенно теперь, в наше сложное время.

Надеемся на правильное понимание поставленного нами вопроса и положительный ответ на нашу просьбу.

По поручению группы читателей

КОРНЕЕВА Н. П. (г. Минводы)

Вспоминая об издательской судьбе романа «Лолита», Набоков писал: «Между тем, нашелся лондонский издатель, пожелавший напечатать ее. Дело совпало с обсуждением нового закона о цензуре (1958—1959 гг.), причем «Лолита» служила аргументом и для либералов и для консерваторов. Парламент выписал из Америки некоторое количество экземпляров, и члены ознакомились с книгой. Закон был принят, и «Лолита» вышла в Лондоне... (...)

С тех пор «Лолита» переводилась на многие языки: она вышла отдельными изданиями в арабских странах, Аргентине, Бразилии, Германии, Голландии, Греции, Дании, Израиле, Индии, Италии, Китае, Мексике, Норвегии, Турции, Уругвае, Финляндии, Франции, Швеции и Японии. Продажу ее только что разрешили в Австралии, но она всё еще запрещена в Испании и Южно-Африканской Республике. Не появлялась она и в пуританских странах за железным занавесом».

Читата сама по себе красноречива. Могу лишь добавить, что в «Лолите» есть около десяти эротических страниц, но порнографических — ни одной.

Н. ГУДАНЕЦ

Здравствуйте, уважаемый Владлен Дозорцев!

«Даугаву» я выписываю с января 1987 года, и превращение журнала происходило на моих глазах. Признаться, меня тогда привлекли «Гадкие лебеди» («Время дождя»), а сегодня весь (почти) журнал, каждый номер, читаю от корки до корки. Именно потому, что журнал стал иным, я и сел за это письмо.

Ситуация с запретами на литературу меняется стремительно. Сначала пошли публикации покойных ныне авторов русского зарубежья, потом Иосиф Бродский, потом — Саша Соколов, потом — Наум Коржавин, и вот сейчас — Владимир Войнович. Быть может, настал момент, когда надо пробовать давать и других? Я к чему веду — все вокруг да около хожу, а Вы уже, наверное, поняли. Я — о Василии Аксенове, точнее — о его романе «Ожог». «Даугава» решилась напечатать «Крутой маршрут». Низкий ей поклон от меня и еще многих и многих! Но ведь во всем мире «Крутой маршрут» в сознании читателей теснейшим образом связан с произведением сына Евгении Семеновны Гинзбург — Василия Павловича Аксенова «Ожог». Сказавши «А», надо говорить и «Б», не так ли? Мне думается, Василий Павлович не стал бы возражать или заламывать цену в долларах. А если у вас в «Даугаве» мало места — свяжитесь в конце концов с «Родником». Вы, помните, говорили в «Литературной газете», что «Даугава» и «Родник» — конкуренты. Но тот же Илан Подоцк и тут и там успевает — какая уж тут конкуренция? Скорее, речь должна идти о координации действия, правда? Печатать «Ожог» нужно, безусловно. А можно ли?

С уважением и верой в «Даугаву»

А. КУЛИК (Свердловск)

ВСПОМНИМ ГЕНЕРАЛА ГРИГОРЕНКО!

Оказывается, в 30-е годы существовало сопротивление сталинской диктатуре. Группа Сырцова, Рютина, Смирнова... Однако создается впечатление, что Брежневу не противостоял никто. Даже деятельность А. Д. Сахарова замалчивается... А ведь перестройка началась не с Горбачева. Сколько их было, противников брежневщины! Академик Юрий Орлов, Валерий Чалидзе, Снявский, Гинзбург, Якир, Красин, Литвинов, генерал Григоренко, писатель Анатолий Марченко, Феликс Светов... Режим Брежнева жестоко боролся с ними. Одних выслали, других бросали в лагеря... Многих уже нет в живых. Особенно привлекает внимание фигура генерала Петра Григорьевича Григоренко. Герой войны, преподаватель академии, имевший все блага и привилегии элиты, — все это он презрел, в одиночку вел борьбу и умер в одиночестве в Америке, после тюрьмы, лагерей и психушки... Восхищение и преклонение перед мужеством его вызывает этот пламенный революционер и поборник прав человека!... Мы думаем, что следует рассказать о людях сопротивления брежневщине. Нет, народ не безмолв-

ствовал в мрачные годы Золотых звезд; были люди, боролись! Нельзя, чтобы память о них стерлась. Мы помним презренные имена Сталина, Берии, Жданова, Брежнева . . . Как можно оставлять в забвении их мужественных противников?!

Вот что я хотел предложить вашему журналу: расскажите о героях — борцах сопротивления, предтечах эпохи перестройки.

Михаил ГОСТЕВ,
г. Воронеж

ЕЩЕ РАЗ О СРОКЕ ДАВНОСТИ

Повсеместно сейчас, лишь только речь заходит о привлечении к ответственности руководителей и исполнителей сталинских зверств, должностные лица стыдливо говорят о каком-то «сроке давности».

Идет злонамеренный обман общественного мнения.

В ст. 48 УК РСФСР (и соотв. ст. УК других республик) сказано:

«Вопрос о применении давности к лицу, совершившему преступление, за которое по закону может быть назначена смертная казнь, разрешается судом».

Более того, в комментариях к этой статье «О наказании лиц, виновных в преступлениях против мира и человечности и военных преступлениях, независимо от времени совершения преступления. Указ ПВС СССР от 4 марта 1966 г.» говорится о том, что «. . . совесть и правосознание народов не могут мириться с безнаказанностью фашистских преступников».

Учитывая, что преступления, аналогичные преступлениям фашистов на территории оккупированных ими стран, совершались сотрудниками НКВД на территории своей страны, против своего народа и в мирное время, я считаю, их гораздо более тяжкими.

Учитывая также, что расстрел мирных людей без суда и следствия, как это происходило, например, в Курпатах, не может квалифицироваться иначе, чем преднамеренное убийство при отягчающих обстоятельствах по ст. 102,д из УК РСФСР, я предлагаю редакции быть истцом в возбуждении дела по факту умышленного убийства десятков тысяч людей — наших сограждан.

То, что убийцы и сегодня занимают ответственные посты и имеют государственные награды, постыдно для нас, продолжающих терпеть такое положение.

Кто дал нам право от имени невинно убиенных прощать их палачей?!

Виктор КОРЕЦКИЙ (Москва)

Авторы снимков в тексте: Харрис Бурмейстарс, Айварс Лиепиньш, О. Паедайтс, А. Шапиро

Сдано в набор 02.02.89.

Подписано к печати 1.03.89. ЯТ 00117.

Формат 60×90/16. Типогр. бумага № 1,

мелованная бумага. Офсетная печать.

Обложка и вклейки — высокая печать.

8,0+0,50+0,25 усл.-печ. л., 15,75 усл. кр.-отт.,

11,17 уч.-изд. л. Тираж 80 000.

Заказ № 135. Цена 45 коп.

Адрес редакции: 226081, Рига, ГСП,

Баласта дамбис, 3.

Телефоны: гл. редактор 466049,

зам. гл. редактора 465913,

отв. секретарь 465996.

отд. прозы 465992,

отд. поэзии 465998,

отд. критики и публицистики 465990,

техн. секретарь 465993.

Отпечатано в тип. Издательства ЦК КП Латвии,

226081, Рига, Баласта дамбис, 3.

Технический редактор
Мудите АРАЯ.

Корректор
Любовь СОКОЛОВСКАЯ.



Икона Господь Вседержитель



Икона
св. Нинолы
Чудотворца



Икона св. Симеона
Богоприимца.

Фото Василия
Дегтярева



Общий вид храма Рижской Гребенциковской старообрядческой общины.
Фото Андриса Штамгута



Икона св. Иоанна Богослова



Икона Спаса Еммануила



Икона Богородицы Знамение.

Фото Василия Дегтярева

5 коп.

Индекс 77123